

I. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ВНЕШНЕИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТАМ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА

1. Начало протомерянской эпохи. Проблема протомеряно-(пра)угорских (протовенгерских) языковых контактов.

Их социолингвистический характер (7–6 тыс. до н.э.)

На основании подавляющего большинства своих исследованных черт (фонетических, грамматических, лексических) мерянский обнаруживает себя как язык, наиболее тесно связанный генетически с прибалтийско-финскими и волжскими языками, в частности в первую очередь, видимо, с прибалтийско-финскими и мордовскими, менее тесна связь с марийским языком, хотя в ряде отношений (например, фонетическом, особенно для восточномерянских говоров) она не менее важна³⁰. Эти данные, которые вряд ли смогут быть в корне опровергнуты, хотя, несомненно, возможны частичные уточнения и конкретизация, дают основание отнести мерянский к финно-пермским, а еще точнее к финским языкам (в широком понимании слова), противостоящим угорским. Однако тем самым еще не отрицается возможность особых связей этого языка с угорскими как в их совокупности, так и с отдельными из них. Есть все основания считать эти связи для мерянского языка не маргинальными или случайными, а весьма существенными, поскольку черты общности, являющиеся, видимо, следствием контактов между (proto)мерянским и языками угорской группы, распространяются не только на лексику, обозначающую наиболее

важные реалии, а и на грамматику или группу тесно с ней связанных служебных слов. В самом деле, в мерянском, как и в венгерском, показателем множественного числа было *-k, –ср.: *βḗp «вили (с двумя зубьями)» (ед.ч.) – *βän̄ek «то же» (мн.ч.): венг. ember «человек» – emberek «люди»³¹, в отличие от показателя -t в наиболее близких к нему прибалтийско-финских и мордовских языках (ср. ф. ihminen «человек» – ihmiset «люди», эст. inimene «то же» – inimeset «то же», морд. Э кудо «дом» – кудот «дома» и под.) (наст. изд., с. 68, 95–97). Здесь выступает союз ра «и», встречающийся также в хантыйском, –ср.: мер. *joluś ра joluś «пусть будет и пусть будет» – хант. эзвет па пухат «девочки и мальчики» (наст. изд., с. 85). Ввиду того что грамматическая общность и контакты в области служебных слов не могут быть результатом эпизодических и неглубоких связей, можно думать, что языковые (proto)мерянско-угорские контакты имели место весьма длительный период. Поскольку такие контакты, причем предполагавшие непосредственную близость контактировавших этносов, носителей соответствующих языков, в историческую собственно мерянскую эпоху не могли быть реализованы: меря и угры в это время находились на далеко отстоявших друг от друга территориях – их можно допустить только для начала протомерянского и соответственно праугорского периода, в то время когда протомеря и праугры оставались еще в пределах финно-угорской прародины (или во всяком случае в непосредственной близости от нее). Здесь протомеря, входя в группу финно-пермских племен, соседствовала с прауграми, что делало возможными

³⁰ В этом отношении не лишены интереса данные исследования лексики (68 корневых слов мерянского происхождения), которые показывают следующий процент общих лексических элементов у мерянского: 1) с прибалтийско-финскими языками – 76,5, 2) с мордовскими – 70,6, 3) с марийским – 55,9, 4) с пермскими – 51,5, 5) с саамским – 44, 6) с обско-угорскими – 44, 7) с венгерским – 41,2, 8) с самодийскими – 31% (наст. изд., с. 123).

³¹ Интересно отметить, что тот же показатель множественно числа встречается и в части саамских диалектов (ср. саам. (зап.) dievva «холм» (ед.ч.) – dievak «холмы» (мн.ч.) (Керт, с. 222), свидетельствующий о связях, существовавших между саамским и венгерским языками.

их непосредственные и тесные языковые контакты. Несмотря на то что лексически мерянский наиболее близок к финским языкам, он обнаруживает следы интенсивных контактов с прауграми и в полнозначной (неслужебной) лексике. Соответствующие относительно немногочисленные лексические элементы принадлежат к важным областям материальной и духовной жизни, что определяет высокий удельный вес данных лексических элементов, их качественную значимость. Так, общим у мери с уграми является название селения (деревни, села), –ср. мер. *palē(-o) «деревня, село» – хант. (вост.) riγəl «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)» (СВХД, с. 381), манс. lāvyl «деревня; поселок; селение» (Ромбандеева, с. 85), венг. falu (< *palu) «деревня, село» (мн. ч. faluk/falvak) (< угор. (ф.-уг.?) *palγz (MSzFUE I, 180) (наст. изд., с. 123), где наиболее близки мерянский и венгерский, что, поскольку венгерская форма значительно удалилась от исходной, предполагает в случае заимствованного характера мерянского слова заимствование из протовенгерского диалекта праугорского языка. О контактах с уграми (и одно время близкими с ними пермянами) в области духовной жизни, в частности того, что касается религиозных представлений, свидетельствует семантика слова с первоначальным значением «дыхание; пар», позже «душа», не у всех финно-угров представленного той же самой, этимологически тождественной лексемой, –ср.: мер. *lil' «душа» (наст. изд., с. 107–108), хант. (вост.) lil «жизнь; дыхание; дух, душа» (СВХД, с. 207), манс. lili «дыхание; душа» (КМРС 78), венг. lélék «душа, дух; мужество, сердце; совесть; лицо; дыхание, жизнь, самосознание», двенг. Lele «душа» (имя венгерского вождя, – Х в.), а также коми лов «душа, дух, жизнь», удм. lul «душа, дыхание, жизнь» < ф.-уг. lewle- «дыхание, дух, душа» (MSzFUE II, 397–398; КЭСКА 160). Важно отметить, что в остальных финно-угорских языках это слово получило другое семантическое развитие (понятие «душа» передается там другими лексемами, а в ряде языков совершенно отсутствует слово, связанное с мер. *lil', –ср.: ф. löyly «пар (в бане)» (< ф.-уг. *lewle-) (понятие «душа»

выражено заимствованным (из герм.) sielu), эст. leil «пар» («душа» – hing, meel); морд. Э ойме, морд. М вайме «душа» (очевидно, родственные эст. vaim «дух», мар. чон «душа» (этимологическое соответствие мер. *lil' в волжских языках отсутствует); саам. Н liew'lâ «пар (в бане)» (MSzFUE II, 397–398). Связь в этих областях лексики с угорскими языками, причем уже в виде несомненных заимствований, отражена и в таком важном глаголе, как «умирать», –ср.: мер. *hale(-ms) «умирать» при мер. *kole(-ms) «подыхать; тяжело болеть; умирать (о животных)», *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь», ul'si(-ms) «(эвфем.) умирать (букв. – становиться бывшим)» (наст. изд., с. 105–106, 111–112). Глагол hale-, закрепленный в основном значении, явно связан с угорскими соответствиями, –ср.: мер. *hale- «умирать» – хант. (каз.) хал'ты «подожнуть» (Русская, с. 234), манс. хđлу-նкве «погибнуть» (Баландин, Вахрушева, с. 137), венг. halni «умирать» при мер. *kole- «подыхать», этимологически родственным с ф. kuolla «умирать», эст. (диал.) koolma (koolen 1 л. ед.ч. наст. вр.) «то же». Последний случай меряно-угорских связей, представляющий собой несомненное заимствование, особенно интересен, так как говорит о явной престижности угорского языка в представлении протомерян. Как известно, при заимствовании слов для выражения основных понятий (при имеющихся, как правило, своих лексемах с тем же значением) по большей части заимствованное слово используется в функции синонима для передачи преимущественно эмоционально-аффективного, сниженного стилистического оттенка значения. Можно привести многочисленные примеры, –ср.: рус. конь (высокий стиль) – лошадь (как полагают, слово древнебулгарского происхождения; первоначально низкий, теперь нейтральный стиль), пес (высокий стиль) – собака (как считают, заимствованное (Фасмер, с. 702–703), сниженное, нейтральное); фр. cheval (< лат. caballus) «конь; лошадь» – rosse «кляча» (< нем. Roß «конь») и т.п. Для того чтобы заимствованное слово могло вытеснить, причем в основной функции, свое собственное, которое стало выступать со сниженным стилистическим оттенком, не-

обходима высокая социолингвистическая престижность языка-источника в глазах носителей заимствующего языка. С другой стороны, известны случаи, когда языки, в частности близкородственные, в силу связанных с ними функций или высокого авторитета их носителей становятся источником заимствований слов высокого стиля, ср. в этом отношении роль церковнославянских заимствований в русском: *преставиться* (цсл.) – *умереть* (рус.); *млечный* – *молочный*; *влечь* – *волочить* и т.п. Видимо, подобным авторитетом в глазах протомерян обладали угорские языки, чем вызвано было не только заимствование слов для обозначения важных понятий, а и то обстоятельство, что они стали источником синонимов для передачи общераспространенных понятий, относящихся к лексике высокого стиля. Данные лингвистические факты не противоречат, а согласуются с показаниями археологии, обнаруживающей в мерянских памятниках материальной культуры связь с материальной культурой угротов (Горюнова, с. 42–43). По мнению археологов, эти связи в какой-то степени поддерживались и позже, уже в историческую эпоху (там же). Поскольку в последнее время за конечную границу распада финно-угорского праязыка на финно-permскую и угорскую ветви принимают 6 тыс. до н.э. (Вийтсо Т.Р. (рец.) Е.А.Хелимский... (ФУ, 1980, № 3, с. 238), период языковых контактов протомерян с прауграми можно отнести только ко времени не позже 7–6 тыс. до н.э.

2. Позднейший период протомерянской и начальный период собственно мерянской эпохи.

Контакты с протославянами
(6 тыс. до н.э. – 5 в. н.э.)

В дальнейшем, судя по данным мерянского языка в сопоставлении с другими финно-угорскими, протомеряне вместе с представителями других финно-perмских племен вошли в соприкосновение с обитавшим в это время в области Волжско-Окского междуречья и восточнее его индоевропейским населением, представителями т. наз. «фатьяновской культуры», которые

или в целом, или во всяком случае в значительной своей части являлись носителями ранней, наиболее древней стадии развития славянского языка. Этот славянский язык ввиду его чрезвычайной архаичности, отраженной в финно-пермских, в том числе мерянских, заимствованиях той поры целесообразно для краткости называть протославянским языком, представляющим собой в сущности раннюю стадию развития праславянского языка. Контакты с протославянским языком оказались наиболее длительными для мерянского языка, так как, судя по их отражению в нем, они охватывают период от начала существования финно-permского языкового единства, т.е. 6 тыс. до н.э., до того времени, когда меряне полностью ассимилировали (мерянизовали) ту часть протославянского населения, которую они застали на занятой ими после переселения с востока исторической территории, т.е. около 5 в. н.э.³² В соответствии с этим часть мерянских заимствований (или включений) из протославянского разделяется им со всеми финно-permскими языками, часть представляет собой заимствования, общие у мерянского только со всеми финскими (прибалтийско- и волжско-финскими, иногда вместе с саамским) языками. Наконец, есть слова, являющиеся, по-видимому, субстратными включениями мерянского из протославянского, которые не имеют соответствий ни в одном другом финно-угорском (в том числе финском) языке. Очевидно, эти слова были включены мерянским в его лексику уже после отделения мерянского от других финских языков в начальный период собственно мерянской эпохи, т.е. примерно в промежутке времени

³² Принять эту до некоторой степени условную дату наиболее позднего возможного сохранения протославянского языка на мерянской территории заставляют два обстоятельства: 1) при первом упоминании мери (Merens) в VI в. н.э. готский историк Иордан не называет при этом вместе с ней каких-либо славян; 2) ко времени первых контактов восточных славян с мереями (IX–X вв.) никаких славян на мерянской территории уже не оставалось. Следовательно, V в. н.э. является наиболее поздним возможным временем сохранения протославянского языка и его носителей на мерянской территории. Не исключено полностью и то, что этот язык исчез окончательно значительно раньше.

между 1 тыс. до н.э. – 5 в. н.э. Протославянской лексики, общей для мерянского с какой-то частью финских языков, например, прибалтийско-финскими, у мерянского пока не обнаружено. Возможно, если протославяне и продолжали контактировать с прибалтийскими финнами на переломе двух эр, о чем свидетельствуют хотя бы финские заимствования типа *talkkuna* (< протосл. **talkūna*/**tɔlkūnɔ*) «толокно» с отражениями древних сочетаний **tolt*/**talt* и под., в отличие от мордовцев и марийцев, контакты с которыми по языковым свидетельствам в это время прервались, то эти языковые прибалтийско-финско-славянские связи имели место на территории, обособленной от мерянской.

К наиболее древним протославянским заимствованиям у мерянского относятся слова, обозначающие число «семь» и дерево «дуб (*Quercus*)», которые проникли в него, по-видимому, первое в начале периода финно-пермского языкового единства, т.е. вскоре после 6 тыс. до н.э., а второе ближе к его концу, т.е. около 5–4 тыс. до н.э.³³ Предположить это необходимо в связи с тем, что первое своей формой указывает, с одной стороны, на гораздо более архаичное, чем во втором случае, состояние протославянского языка, а с другой, свидетельствует о большем единстве и взаимосвязи между финно-пермскими диалектами. Что касается второго, то оно обнаруживает как более продвинутое состояние в развитии протославянского языка, так и большую степень расхождения между своими отражениями в языках финской и пермской ветви. Следовательно, это свидетельствует о его заимствовании в тот период, когда обе ветви, финская и пермская, заметно друг от друга отдалились и были близки к распаду, хотя генетические связи междуprotoфинским и (прото)пермским идиомами еще полностью не прерывались и финно-пермское языковое единство еще продолжало сохраняться. По мнению Б.А.Серебренникова, первое из слов, связанное с числовым понятием «семь», исходя из его структуры,

³³ Принятие этой сугубо ориентировочной даты вытекает из того, что в 3 тыс. до н.э. предки прибалтийских финнов вышли уже к Балтике, т.е. оторвались от волжских финнов.

следует считать заимствованием из какого-то индоевропейского языка балтийско-славянского типа (Серебренников, с. 221). Однако внимательное ознакомление именно со структурой слова позволяет его отнести с большим основанием не к славяно-балтийским, а к собственно протославянским заимствованиям. В пользу этого говорит то, что, как известно, в балтийских языках слова со значением «семь (седьмой)» сохраняют в своей структуре унаследованный еще из праиндоевропейского звук -*r*-, утраченный славянскими языками, –ср.: лит. *septyni* «семь», лтш. *septini* «то же», прус. *septmas* «седьмой» (динд. *saptamañ* < **septemos* «седьмой») – рус. *семь (седьмой)*, укр. *сім (съомий)*, бел. *сем (сёмы)*, п. *siedem* (*siódmy*), ч. *sedm* (*sedmý*), слц. *sedem* (*siedmy*), вл. *sydom* (*sydmy*), ил. *sedym* (*sedumy*), полаб. *siděm* (*sidmě*), болг. *седем* (*седми*), мак. *седум* (*седми*), скв. *седам* (*седми*), слн. *sedem* (*sedmi*), стсл. *седмъ (седмъ)*, псл. **sedmъ*, **sedmъ(jь)*. Поскольку финно-пермские заимствования, отражающие чрезвычайно архаичную, по-видимому, предшествовавшую (поздне)праславянской форме, также не обнаруживают отражения звука -*r*- (ср.: ф. *seitsemän*, кар. *seit't'semän*; вепс. *seit'sime*, вод. *seitse*, эст. *seitse* (ген. *seitsme*), лив. *seiš*, саам. К *čiččam*, морд Э, М *сисем*, мар. *шым(ыт)*, мар Г *шым*, удм. *сизым*, коми-зыр., коми-перм. *сизим*, мер. **šežum*/**šížum* (наст. изд., с. 73–74), есть все основания считать, что слово является заимствованием из протославянского языка. Очевидно, наиболее близка к исходной форме, приобретенная словом в финском языке, где *seitsemän* может отражать протосл. **setseman*(*-*çn*)³⁴. Эта форма могла возникнуть на основе ассимиляционных процессов из первоначальной **septeman*(-*çn*) «(букв.) седьмое» (> **setteman*

³⁴ Реконструкция исходной финно-пермской формы *šežsemä* (Редеи, Эрдеи, с. 433) может предполагать в качестве исходной протославянской праформу **semtsema*, если не считать -*ç* новообразованием финского, а, напротив, отражением протославянского архаизма, что соответствует общей архаичности финского, в том числе в передаче древних заимствований. Дальнейший ход развития слова и при принятии данной праформы в основном должен был совпасть с предложенным для праформы **setseman*.

> *setseman) и должна была в дальнейшем развитии славянского языка путем стяжения двух почти одинаковых слогов и позднейшей ассимиляции (> *setman > *sedman) дать в результате действия закона открытости слогов (поздне)краславянское *sedmo «седьмое». Сохранение закрытости слога, — ср. протосл. *setseman (< *septeman < *septemon) и гр. ‘έβδορον (< *sebdomon), — говорит о том, что протославянское слово сохраняло в это время еще состояние, близкое к индоевропейскому, когда в конце слова еще были возможны согласные. Таким образом, сама форма слова подтверждает возможность его столь раннего заимствования, предполагаемого на основе абсолютной хронологии финно-угорских языков.

Более поздним в качестве заимствования является слово со значением «дуб (*Quercus*)». Об этом говорит как расхождение в его финских и пермских отражениях, так и то, что оно отражено уже без первоначального конечного согласного. Отражения в финских и пермских языках — ср.: ф., кар., иж., вод. tammi, эст. tamm (ген. -e), лив. täm (ген. tam), морд. Э, М тумо, мар. тумо, мар Г тум, мер. *toma / *tomə (наст. изд., с. 120); коми-зыр. (дперм.) тулу, коми-perm. тылу, удм. тылы — предполагают для себя две праформы — прафинскую *tomma (Collinder, р. 155) и пра-пермскую *tupri, которые могли возникнуть из общепрафинно-пермской *tompa (путем прогрессивной ассимиляции для финской ветви, что дало *tomma, и регressive для пермской, что дало *toppa с позднейшим переходом в *tupri). Прафинно-пермское *tompa, исходя из того, что первоначально финно-угорским языкам были абсолютно чужды (за исключением сонорных) какие-либо звонкие согласные и также не свойственны им носовые гласные, должно было отражать протославянское *doba (*dōbɔ) < *dumbos «дуб». Отсутствие первоначально свойственного слову конечного согласного, вполне возможного в финно-пермских языках (ср. ф. kalastus «рыболовство», коми-зыр. ломтас «топливо»), говорит о том, что оно было заимствовано в период, когда уже стал действовать закон открытости слогов, следовательно, и звукосочетание -ом- в пра-

финно-пермском отразило уже не аналогичное звукосочетание протославянского, а носовой гласный -ö. Однако отпадение конечного согласного произошло, видимо, незадолго до заимствования. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что конечный гласный в этот период, судя по наиболее архаичному и близкому к исходной форме прафинскому отражению, еще сохранил свое первоначальное качество, а не перешел в позднейшее -й, давшее в конечном счете (поздне)краславянское -ъ.

К еще более позднему периоду, так как соответствующее заимствование про никло только в финские языки, относится протославянское слово со значением «озеро» — ср.: ф., кар., иж. järvi, венг. járv, вод. jarvi, эст. järv (ген. -e), лив. jára, jõra, саам. Н jaw're, саам. И jášri, морд Э эрьке, морд М эрьхке, јејќе (где -ке/-ке суффикс уменьшительности), мар. ер, мар Г йäр, мер. *jähre (наст. изд., с. 67, 121) — которое на основе закономерностей исторических переходов, связывающих финские языки (см.: Лыткин, 1974, с. 129–130, 135–137; наст. изд., с. 121; Аристэ, с. 294), дает исходную праформу *jäýera(-ä) как отражение протосл. *jäýera(-ɔ) «озеро». Форма *jäýera(-ɔ) вместо предполагаемого исходного *jäýeran(-ɔn), — ср. прус. assaran «озеро», — говорит своей структурой о том, что она была заимствована в период, когда уже отпало конечное -н и, следовательно, действовал закон открытых слогов, однако в этот период в славянском еще не произошел переход *-ý- (< *-gh-) в -z-, результатом которого было появление (поздне)краславянской формы *ezero «озеро».

Слова *doba(-ɔ) и *jäýera(-ɔ) представляют собой, вне всякого сомнения, заимствования из протославянского языка, поскольку первое из них, хотя и возникло на индоевропейской основе, является сугубо славянским новообразованием (ЭССЯ, вып. 5, с. 95–97) и, помимо того, оба они отражают формы, возникшие вследствие действия именно славянского фонетического закона открытости слогов.

К сугубо мерянским относятся факты включения слов *cölə «цел(ый), здоров(ый)» (наст. изд., с. 113) и *veí (мн.ч. *vänök) «двурогие вилы», реконструируемые на ос-

нове рус. (диал., постмер.) *Цолонда!* «Здравствуй, хозяин!» (< мер. *Cölä, (a)nDä(Ba)! «Здоров(ый) (цел(ый)) (будь), кормящий!») и *бяньки* (бени, бини, венечки) «двурогие (главным образом деревянные) вилы», которые являются отражением протославянских *c'öl̥ (-ъ) «целый, здоровый» и *dväni «двойни; предмет, включающий две части; состоящий из двух частей». Оба слова отражают еще более продвинутый по сравнению с предыдущими заимствованиями этап развития протославянского языка, о чём, в частности, говорит переход *k* > *c'* (*c'öl̥/ъ) (< *kɔil̥ < *kailo(-u)-s) «целый», однако такая черта, как неполнотью завершившееся слияние предыдущих рефлексов в едином псл. -ё-, свидетельствует о состоянии, хотя и близком к (поздне)праславянскому, но предшествующем ему. Оба слова имеют параллели в современных славянских языках, предлагающие их праславянское происхождение, —ср. для *c'öl̥(-ъ) рус. *цел(ый)*, укр. *цілий*, бел. *цэлы*, п. *сау*, ч. *слц. celý*, вл. *сүү*, ил. *сеүү*, болг. *циял*, мак. *цел*, схв. *цео*, слн. *cel*, стел. *цълъ*; для *dväni* — болг. (ст.) *двенки* «двоє, две» (< псл. *d(ъ)vělpъky), а также внеславянские индоевропейские параллели лит. *dvupū* «близнецы», дсакс. *twēne* «двоє», лат. *bīnī* (< *duis-no-) «двукратный», свидетельствующие сходством корневой и суффиксальной части об архаичном праславянском происхождении болгарского слова.

При своем небольшом количестве рассмотренные слова, особенно наиболее древние из них, представляют значительный интерес, говоря с несомненностью о большой временной глубине славяно-финно-угорских, в том числе и славяно-протомерянских, контактов. Приведенные факты, свидетельствуя о большой древности и протяженности контактов западной части финно-угорских народов, их финно-пермской ветви, с протославянами (с 6 тыс. до н.э. до 5 в. н.э.), об очень раннем начале их взаимосвязей, ставят в то же время перед вопросом о территории, на которой они могли иметь место. Для полного решения этого вопроса необходимы усилия всех представителей гуманитарных наук, прежде всего историков и археологов. На основании одних лингвистических данных ответить на этот вопрос с надлежащей

полнотой невозможно. Тем не менее даже одни лингвистические данные говорят о том, что, поскольку в начале этих контактов приняли участие как будущие финны, так и пермяне, территория, занятая славянами в это время, простиралась значительно дальше к востоку, чем это предполагалось для всех допускавшихся до сих пор славянских прадородин. Именно славяне, а не балты должны были быть после индоиранцев первым индоевропейским народом, с которым столкнулись финно-пермские племена при их движении на запад. Об этом говорят древние славянизмы пермских языков, где одновременно полностью отсутствуют заимствования из балтийских языков. Очевидно, дальнейшие исследования приведут к новым открытиям следов древних славяно-финно-пермских контактов. Однако больше связей с протославянским обнаруживается у финских языков. Скорее всего это объясняется тем, что при своем движении с востока финно-пермские племена оттеснили славян к западу. Поэтому для пермян, оставшихся на востоке, связи с древними славянами прекратились значительно раньше, чем для финнов, в том числе и протомерян, продолжавших продвигаться на запад. Особенно долго связь с этими славянами сохранялась у мерян, так как они поселились на территории, где продолжало оставаться славянское население, постепенно в течение ряда веков ассимилированное мерянским. Не исключено, что западнее этой территории, на землях, где также имелось протославянское население, жили, до своего переселения к Балтийскому морю и установления связей с балтами, предки прибалтийских финнов, которые вступали в контакт с местным населением, чем объясняется довольно большое количество древних славянских заимствований в прибалтийско-финских языках (Kiparsky, S. 75–84) при их почти полном отсутствии (за исключением рассмотренных) в мордовском и марийском.

У славян, как показывают древнейшие заимствования финно-пермских языков, финны, в том числе протомеря (частично с пермянами), заимствовали одно из чисительных первого десятка, что могло быть связано с, возможно, большей развитостью

счета у славян, либо тех отраслей, например торговли, где счет был необходим. Таким образом, протославянское числительное или заполнило пустую клеточку в складывавшейся системе финно-permских числительных, или вытеснило употреблявшееся перед этим в той же функции финно-perмское слово. Заимствование слова со значением «дуб» было, по-видимому, связано с тем, что на своей прародине, расположенной по обеим сторонам Уральского хребта и в Западной Сибири, финно-угры не встречали этого дерева (ср. венг. *tölg* «дуб», слово, как полагают, древнеосетинского происхождения, – MNTESz III, 1. 959–960). Несколько сложнее обстоит с заимствованием слова со значением «озеро». Поскольку во всех, не только финно-угорских, а и уральских языках, кроме финских, представлено общеуральское слово с этим значением (ср.: манс. *tō*, хант С *təw*, венг. *tó* (акк. ед.ч. – *tavat*), коми-зыр., коми-perм., удм. *ты*, нен. *tō*, эн. *to*, ноган. *túrku*, сельк. *tu*, кам. *t'ui*, матор. *toa*, тайп. *to* «озеро»), трудно себе представить, чтобы речь шла о заимствовании слова для обозначения неизвестного ранее понятия (напомним, что прародина финно-угров располагалась в местности, богатой озерами и реками). Скорее всего собственное слово было вытеснено протославянским заимствованием, которое могло войти в прафинский вначале как синоним собственно го слова и только позже заменило его, видимо, вследствие каких-то внутриструктурных причин (например, ввиду создававшей неудобства омонимичности с какими-то другими лексемами). Как бы то ни было, для подобного заимствования были необходимы тесные связи с протославянским населением, возможно, субстратного типа. Похоже, что такими они и были у мери и протославян. Заимствование со значением «двурогие вилы» говорит о том, что меря училась у протославян оседлому скотоводству и связанной с ним заготовке кормов, а также земледелию, поскольку заимствованное слово является обозначением предназначенного для этого сельскохозяйственного орудия. Заимствование слова «здоровый, целый» в составе фразеологического оборота **Cölə, anDəba!* «Здоров

(будь), кормящий (> хозяин)!» свидетельствует о влиянии протославян на мерю и в области духовной культуры, даже в таких ее тонких и сложных проявлениях, как речевой этикет. Это предполагает длительность контактов, а также хорошее знание, во всяком случае частью мерянского населения, протославянского языка. Однако, очевидно, преобладающим, а затем и единственным типом двуязычия на мерянских землях со смешанным меряно-протославянским населением стало не меряно-славянское, а славяно-мерянское двуязычие, которое завершилось полным переходом протославян на мерянский язык. О том, что было именно так, говорят явные протославязмы мерянского языка, отсутствующие во всех других финно-угорских (в том числе и финских) языках, которые, с одной стороны, обнаруживают свой явно (прото)славянский характер, с другой же, хранят следы приспособления данных слов к особенностям финской, прежде всего мерянской, фонетики (типично мерянский звук *β, устранение сочетания двух согласных в начале слова, согласно требованиям финской фонетики (**dv-* > **β-*); типично мерянский переход *-ä- > *-e- в новом закрытом слоге (**βäpək* > **βeñ*) и т.п.). Тот факт, что к появлению новых групп славян на мерянской территории, именно восточных, которое произошло на рубеже X–XI вв., там уже не было никакого славянского населения, говорит о том, что протославяне к этому времени были давно ассимилированы мерей. Следовательно, указанные протославязмы мерянского языка имеют характер субстратных элементов. Не исключено, что, кроме лексического, протославянский субстрат мог оказывать на мерянский язык и какие-либо другие влияния, например, фонетическое (отсутствие, по всей видимости, сингармонизма, – наст. изд., с. 138) или синтаксическое (развитие связки в настоящем времени, – ср. мер. **Śi joń juk* «это (есть) река» при венг. *Ez ház* «это – дом», морд. Э *Te минек лиресь* «это – наш сад», – наст. изд., с. 86–87). Таким образом, есть все основания считать, что полный переход протославян на мерянский язык занял большой промежуток времени, скорее всего несколько веков, оставив заметные следы

в мерянском языке, различимые даже в небольшом количестве его восстановимой лексики (около 100 слов, в том числе 68 корневых). Гораздо сложнее, чем конкретный характер протославянского влияния, особенно лексического, объяснить причину несомненной ассимиляции протославян мерей, тем более что этот процесс, в отличие от позднейшего противоположного процесса славянизации мери, гораздо хуже отражен имеющимися в распоряжении науки фактами. Судить об этом можно только с помощью единичных сохранившихся протославянских субстратных включений мерянского языка, а также заимствований других финно-permских языков. Возможно, это было предопределено тем, что на начальном этапе финно-perмско-славянских контактов финно-perмские племена имели определенные, в частности, милитарные преимущества по сравнению со славянами³⁵, вытекавшие из предыдущих связей финно-угров с иранскими племенами. Эти преимущества могли способствовать тому, что финно-perмским, а позднее финским племенам удалось оттеснить основную массу протославян далеко на запад, и в области Волго-Окского междуречья, занятого проторей, образовался поэтому значительный количественный перевес мери по отношению к протославянскому населению. Кроме того, протославяне на мерянских землях, ввиду передвижений балтийцев, могли оказаться отрезанными от своей основной массы, ушедшей на запад, а мерянское население могло увеличиваться как за счет переселявшихся на его земли и мерянанизировавшихся финно-угров, так и за счет ассимиляции славян. К тому же в этот период, когда мерянские земли были почти со всех сторон окружены землями других родственных финно-угорских племен, мерянский язык мог служить удобным средством общения и с ними, чем в это время

³⁵ Последнее предположение подтверждается результатами археологических исследований, — ср.: «Фатьяновцы, отрезанные от медных рудных источников (Вятско-Бетлужских и Средневолжских) приуральско-камскими племенами, не могли долго противодействовать нападку прекрасно вооруженных металлическим оружием противников и были ими частично уничтожены, покорены и ассимилированы» (Крайнев, с. 271).

уже не мог быть протославянский язык. На западе в той же роли выступал балтийский язык. Эта все более усилившаяся изоляция протославянского языка, связанная с постепенным уменьшением количества его носителей, и привела, в конце концов, к тому, что с течением времени все протославянское население было полностью мерянанизировано задолго до того, как на тогда уже полностью мерянские в этноязыковом отношении земли началось переселение древнерусских племен. Однако ввиду того, что в целом ряде отношений протославяне не только не уступали меряям, а частично даже превосходили их (например, в экономике, развитии земледелия и скотоводства, чему меря могла учиться у протославян), при неблагоприятности обстоятельств, в которых оказались протославяне и которые обусловили их ассимиляцию, она протекала чрезвычайно медленно и могла затянуться на целые столетия (возможно даже от 1 тыс. до н.э. — до 5 в. н.э.).

3. Некоторые из других этноязыковых контактов (proto) мери того же и более позднего периода.

Связи с булгарами

Более кратковременными и эпизодичными были связи (proto)мери с другими народами Поволжья, с которыми она столкнулась при своем движении на запад, сперва в составе других финских племен, а затем как самостоятельный этнос. О некоторых из них пока можно делать только предположения, не подтвержденные конкретным лингвистическим материалом, основой историко-социолингвистического комментария. По мнению археологов, связи мери с угорскими племенами не прерывались и в исторический период. Возможно, своими истоками к этому же времени восходят и более тесные, чем прежде, связи с предками прибалтийских финнов, особенно усилившимися в позднейшие периоды, близкие к собственно мерянской эпохе. Однако при бедности реконструированного мерянского материала, который имеется в настоящее время в руках исследователя, и при том, что речь

идет о контактах с родственными языками, требующими особенно тщательного анализа ввиду близости (иногда тождественности) соответствующих лингвистических явлений, фактов генетически близких языков, в настоящее время нет еще возможности ответить на вопрос о конкретном характере этих контактов, которые, несомненно, имелись.

Из языковых взаимосвязей того же периода, что и контакты с протославянами, бесспорно устанавливается только влияние булгарского языка. Соответствующих фактов немного, но они важны и интересны в связи с тем, что указывают на важную роль булгар в развитии материальной культуры мери как части финских племен и как самостоятельного финно-угорского этноса.

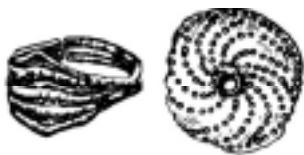
В мерянском, прибалтийско-финских и мордовских языках выступает слово со значением «корова» (в мерянском и прибалтийско-финских языках) и «лошадь» (в мордовских), —ср.: мер. *lejma (< *lež'mä < *lešmä) «корова» (наст. изд., с. 39), ф., кар., иж., вод. lehmä, вепс. l'ehm, эст. lehm, лив. pi'em, ni'eemä «то же»; морд Э *лишме* «лошадь», морд М *лишме* «конь» (только о красивом или игрушечном коне) < ф.-мер.-морд. lešmä. Очевидно, в основе слова лежит сложное слово булгаро-финского происхождения, образованное из булг. *laša (ср. чув. лаша) «лошадь» (Егоров, с. 126) + ф. (< урал.) *emä «мать; самка» (ОФУЯ 1 1974, с. 402), что под влиянием сингармонизма, действовавшего, по-видимому, в прафинском идиоме-предке данных языков, должно было дать впоследствии *läšämä «(букв.) лошадь-мать, лошадь-самка, т.е. кобыла», а позднее в результате стяжения, связанного с деэтиологизацией и фонетической перестройкой слова, дало праформу *lešmä, лежащую в основе всех приведенных выше слов (наст. изд., с. 121). Такова история формального развития слова. Что касается его семантического развития, то его наиболее логично представить себе следующим образом. У булгар, которые, как все тюркские народы, доили кобыл и употребляли в пищу кобылье молоко, предки мери, прибалтийских финнов и мордовцев усвоили тот же способ использования лошадей-самок как дойных живот-

ных. Именно в связи с этим используемые для доения кобылы получили у этой части финских племен название, заимствованное у булгар (у остальных тюрков название лошади имеет форму *alaša, с сохранением начального а-), хотя и усложненное уточняющим компонентом финно-угорского происхождения *emä «самка; мать». Впоследствии, когда прибалтийские финны и меря переселились на запад и стали, по-видимому, не без влияния протославян, а, может быть, частично и балтов, использовать все больше, а затем исключительно в функции крупного дойного скота коров, название *lešmä (> мер. *lejma, ф. lehmä) стало обозначать сперва крупное дойное животное вообще, а затем было перенесено на коров, используемых в той же функции, что и первоначально кобылы. Что касается мордовских племен, то у них для обозначения коров стали использоваться другие слова (ср. морд Э *скал* «корова», морд М *тракс* «то же»), а слово *lešmä (> морд Э, М *лишме*) стало обозначать не кобылу, а лошадь вообще (независимо от ее пола). Рассмотренное слово интересно тем, что оно говорит о периоде, когда из финского единства выделились, с одной стороны, марийцы, а, с другой, прибалтийские финны, меря и мордовцы³⁶. Как показывает оно, в этот период предки всех этих будущих народов находились в довольно оживленных экономических отношениях с булгарами, в том числе участвуя ведению такой важной отрасли хозяйства, как молочное скотоводство.

³⁶ К более позднему периоду, очевидно, связанныму с началом собственно мерянской эпохи, а возможно, с периодом, непосредственно к нему примыкающим, относятся некоторые грамматические черты, отделяющие мерянский от волжско-финских языков, в частности мордовских, и сближающие его с прибалтийско-финскими (особенности склонения, — наст. изд., с. 66-70; спряжение глагола *jolə — «быть», — там же, с. 77-80). Более точному определению времени выработки этих общих черт мешает менее четкий, чем в лексике, характер грамматических взаимосвязей. Уже только к собственно мерянской эпохе (видимо, ее началу) относится формирование таких сугубо мерянских черт, как (в фонетике) переход а > о, о > ү, ө > ى, ä > e в новом закрытом слоге (наст. изд., с. 96) или возникновение вариантов глагола *jolə — «быть» (*jol-; *ul-) (там же, с. 79-80).

О связи непосредственно мери с булгарами свидетельствует другое слово, известное в подобной форме и с подобным значением только мерянскому языку, а именно мер. *páhča «овоши (свекла, брюква, огурцы)» (наст. изд., с. 110) (< булг. *rahčá, –ср. чув. лахčá «огород; сад» < перс. baγčá «то же»). В данном случае заимствование свидетельствует о том, что у булгар меря училась огородничеству, культура которого, в свою очередь, была заимствована булгарами у персов. Следовательно, на мерю, как и на другие финно-угорские народы Поволжья, булгари повлияли и как непосредственные носители определенной достаточно высоко развитой (например, в области скотоводства) материальной культуры и как передатчики других культурных влияний, в частности идущего по Каспию и вверх по Волге влияния фарсиязычного Ирана.

Если первое заимствование наиболее точно (пока только в масштабе относительной хронологии) следует связывать с периодом выделения прибалтийских финнов, мери и мордовцев из финской общности, который предшествовал собственно мерянской эпохе, то второе относится уже непосредственно к собственно мерянской эпохе, причем ко времени, предшествовавшему проникновению на мерянскую территорию восточных славян. В этот период, поскольку влиянию Булгарского государства на народы Поволжья не противодействовала Киевская Русь, боровшаяся, как известно, с булгарами за Волгу, по которой осуществлялась связь с персидскими и арабскими землями, контакты мерян с булгарами имели гораздо более непосредственный и оживленный характер, чем это стало возможно позднее. Следует думать поэтому, что заимствование могло произойти скорее всего не позже VIII-IX вв. На это во всяком случае указывают внешне(социо)лингвистические обстоятельства.



Металлические украшения VI-XI вв. из Сарского городища.
[22, стр. 97]

4. Начало собственно мерянской эпохи.

Связи с балтами. Их характер
(1 тыс. до н.э. – VI-VII вв. н.э.)

Развитие мерянского языка в начале собственно мерянской эпохи, кроме собственных внутренних тенденций, обусловливалось воздействием индоевропейского протославянского субстрата, а также влиянием смежных с мерянским языками. В большинстве случаев это были финно-угорские языки или диалекты – прибалтийско-финские (вепсский), пермские (коми), марийский, мордовские (эрзя, мокша, муромский, ме́щерский), влияние которых вследствие малой изученности проблемы, усугубляемой сложностью установления их взаимоотношений, вызванной генетической близостью, в настоящее время не поддается выяснению. Только с одной стороны, не принимая во внимание контактов с протославянским языком, носители которого еще проживали на мерянской территории, мерянский граничил с индоевропейскими языками (или диалектами). Это были балтийские языки, прежде всего язык голяди, тогда еще не вытесненные восточнославянскими племенными идиомами вятичей и кривичей, впоследствии вошедшими в контакт с мерянским, сперва на его границе, а затем на самой мерянской языковой территории. Балтийские элементы в мерянском, поскольку они относятся к индоевропейским, неродственным мерянским, значительно проще выделяются на фоне мерянских, финно-угорских, прежде всего лексических элементов. Это позволяет с большей определенностью, чем это относится к финно-угорским языкам, говорить о характере взаимоотношений между мерей и балтами. Слабая изученность древнебалтийских языков и диалектов этого периода, правда, лишает возможности связывать их с конкретными балтийскими идиомами, относя их пока суммарно к балтийским языкам в целом. О том, что данные балтийские элементы, несмотря на то, что в настоящее время они извлекаются из разнообразных видов русского языка, вошли в них непосредственно из мерянского, помимо того, что они зафик-

сированы или сформировались в русском языке Центральной России, на бывшей мерянской территории, в еще большей степени свидетельствует то, что они преимущественно обнаруживают на себе следы влияния мерянской фонетики или заимствованы из балтийских языков там, где в настоящее время русский язык не имеет с ними контактов, но мог иметь мерянский, смененный впоследствии славяно-русским. К числу таких балтийских элементов, вошедших в русские локо- или социолекты непосредственно из мерянского, относятся прежде всего слова, обозначающие явления материальной культуры, заимствованные из балтийских языков, возможно, частично посредством прибалтийско-финских языков. Сюда относится мер. *kirbä^s «топор» (угличское арго *кирбяс* «то же»), где уже наличие характерного для мерянского звука -β- вместо балтийского и прибалтийско-финского v (ср. лит. *kirvis* «топор», ф. *kirves* «то же»), наряду с фиксиацией слова на постмерянской территории, говорит о включении слова в русское арго из мерянского языка, в частности, из его западных говоров (наст. изд., с. 101).

Торговые связи мери с балтами, при которых она приобретала у них необходимые ей вещи, иногда с их названиями, были весьма оживленными, причем в качестве средства общения использовался балтийский язык; об этом свидетельствует мер. *kolbē⁻ «говорить; разговаривать» (рус. (арг. угл.) *колбать* «то же»), явно связанное с лит. *kalba* «язык; речь», *kalbēti* «разговаривать» (наст. изд., с. 105). О прохождении слова через мерянскую среду, помимо прочих обстоятельств, говорит характерный во многих случаях для мерянского переход a > o. По-видимому, балтийский язык использовался мерей (и не только ею, а также прибалтийскими финнами) при общении с балтами, что заставляет предположить определенный его авторитет у финнов, очевидно, приобретенный им благодаря известному перевесу балтийских племен, прежде всего в области культуры. Объяснялось это, конечно, не каким-то извечным национальным превосходством балтов, а их более западным и южным расположением, что позволило им раньше, чем финнам, войти в соприкосновение с наи-

более тогда развитой культурой европейских народов Средиземноморья – греков, римлян и связанных с ними народов Западной Европы. Как передатчики этой культуры балты имели в глазах финнов несомненный авторитет, что вынуждало преимущественно не балтов пользоваться одним из финских языков, а, наоборот, финнов прибегать к балтийскому. Это влияние нашло свое наиболее значительное отражение в прибалтийско-финских языках, отличающихся особым обилием балтизмов, однако не могло не затронуть и мерянский язык. Мер. *kolbē⁻ «говорить» типологически сопоставимо с венг. *beszélni* (< *beszédni) «разговарить (< беседовать)», словом славянского происхождения, указывающим на то, что венгры при общении с окружающими их славянами пользовались славянским языком (подобно тому, как меря при общении с балтами пользовалась балтийским).

5. Дальнейшие периоды (собственно) мерянской эпохи. Начало контактов с восточными славянами. Обстоятельства христианизации мери (Х–ХII вв.)

С новомерянской поры собственно мерянской эпохи, когда меря вошла в постоянный и все усиливающийся контакт с восточными славянами (т.е. с X в.), от мерянского и о мерянском сохранилось больше сведений, чем от предыдущих периодов, представленных в самом русском (диалектном) языке и связанных с ним пережиточных явлениях материальной и духовной культуры постмерянских областей Центральной России. Объясняется это тем, что, хотя сведения эти в основном извлекаются из мерянского наследия русского (диалектного) языка постмерянского периода, новомерянская пора хронологически ближе, чем древнемерянская, тем более протомерянская эпоха. Кроме того, эту пору, представленную конкретными историческими периодами, отделяют от предшествующей важные качественные отличия – с этого времени мерянский вошел в непосредственный контакт со (славяно)русским языком, которому суждено было

стать его преемником. Ввиду этого социолингвистические явления этой поры более ясны и о них можно больше сказать.

Одно из таких важных явлений представляется собой христианизация мери и связанные с ней обстоятельства. Косвенные данные – упоминание в «Житии (епископа) св. Леонтия» (XI в.) того факта, что он, будучи греком по национальности, «русский и мерзкий языкъ добръ умъяше», т.е. хорошо владел русским и мерянским языком (Ж. св. Л., с. 11), благодаря чему, видимо, добился больших успехов в христианизации мери, а также наличие мерянского, заимствованного из греческого, христианского термина *joþlos/(>) *jols (< сгр. διάβολος), «черт, дьявол», сохраненного на постмерянской территории (Углич, Солигалич, Кинешма) (наст. изд., с 99–100), – свидетельствуют о том, что при христианизации мери использовался мерянский язык, причем богослужебная литература переводилась на него, во всяком случае, сначала непосредственно с греческого оригинала, минуя церковнославянское посредство. Вынуждало к этому то обстоятельство, что на мерянских землях при большом количестве мерянского населения, в значительной части не владевшего либо владевшего плохо славяно-русским языком, успеха в проповеди новой, христианской религии можно было достичь, только используя мерянский язык. Таким образом, хотя до сих пор подобных (возможно, не сохранившихся) памятников не обнаружено, есть все основания считать, что на мерянском языке существовали переводные памятники религиозного богослужебного характера. Ясно, что, несмотря на то что проповедь миссионеров среди мери велась, особенно вначале, преимущественно устно, проповедники христианства не могли ограничиваться только созданием устных текстов, посвященных пропаганде новой веры. При этом неизбежно было ознакомление с текстом Евангелия, Псалтыря, основных молитв, которые не могли импровизироваться, а должны были рассказываться и читаться. К тому же, поскольку при чтении на память могли неизбежно возникать нежелательные разночтения, необходимы были, хотя бы частично, фиксированные, т.е. письменные

тексты. Таким образом, наиболее логично прийти к умозаключению о том, что проповедь христианства среди мери велась на мерянском языке и традиция ее была достаточно устойчивой, раз от нее даже после окончательного исчезновения мерянского как живого языка в русских постмерянских говорах остался мерянский христианский термин.

Богослужение на родном мерянском языке было одной из сторон и особенностей христианизации мери, для которой в целом была характерна мягкость методов, примененных при ее распространении, желание не столько противопоставить новую религию старой, языческой, и идти наперекор национально-этническим традициям мери, сколько, напротив, максимально опереться на них, представив христианизируемому мерянскому населению христианство как явление, связанное с его культурно-национальными и родо-племенными традициями, не противоречащее, а логически завершающее, усовершенствующее, вырастающее из них. Нужно сказать, что та же тактика применялась в значительной степени и на чисто восточнославянских землях. Пользуясь тем, что у восточных финнов-язычников, как и у славян, уже выработалось представление о верховном Боге, возглавляющем пантеон подчиненных ему языческих божеств, а также тем, что христианский монотеизм (тройственность Бога, существование многочисленных святых) был менее строг, чем иудейский и мусульманский, православная церковь как бы приближала новую религиозную систему к понятиям язычников. Функция верховного языческого Бога переносилась на Бога христианского, функции ряда особо почитаемых языческих божеств – на христианских святых, часть наиболее важных с точки зрения язычников празднеств связывалась с новыми христианскими праздниками. Менее важные моменты языческих культов или те из них, которые явно не поддавались адаптации применительно к новой вере, осуждались и объявлялись рождением дьявола, кстати, представление о котором также не противоречило мироизвержению язычников, поскольку языческие религии в какой-то степени содержат представление о добрых и злых божествах,

доброй и злой смерти и т.п. Подобная тактика православной церкви не вытекала, конечно, из того, что новая религия всегда и во всех положениях отличалась мягкостью при обращении язычников в христианство. Во многом она объяснялась тем, что попытки не считаться с многовековыми народными традициями, навязывание новой веры силой натолкнулись на серьезное сопротивление социальных низов, спрятавшись усмотревших в новой вере один из способов еще большего их порабощения социальными (феодальными) верхами. Новую узду надо было надеть на народные массы, которые к ней еще не привыкли, а чтобы они ее не сбросили, необходимо было время для убеждения самих масс в том, что эта узда не только не враждебна, не чужда им, а, напротив, самым тесным образом связана со всем строем привычных им культурно-религиозных национально-этнических традиций и представлений. Этим как раз и объясняется то, что на смену жесткой политике кнута пришла более мягкая и гибкая политика пряника³⁷, предопределившая путь как бы врастания христианства в местные языческие традиции. Поводов для того, чтобы так поступать, к тому же в XI в., на который приходится миссионерская деятельность среди мери первого ростовского епископа св. Леонтия и его ближайших преемников (Корсаков, с. 93), вообще на землях славянских тогдашних государств и конкретно на мерянских землях Владимира-Сузdalского княжества (Ростово-Сузdalской земли) было более чем достаточно. В 1037-1039 гг. в Польше произошло огромное крестьянское восстание, сопровождавшееся разгромом церквей и монастырей, уничтожением, наряду с феодалами, представителей духовенства и попыткой восстановить в своих правах языческую религию. Вспыхнувшее восстание, которое перекинулось на Западное Поморье и По-

лабию, было с трудом подавлено совместными усилиями польских, древнерусских, чешских и немецких феодалов.

Немногим более чем через четверть века (спустя 32 года), в 1071 г. вспыхнуло языческо-антифеодальное восстание мери на мерянских землях, возглавляемое мерянскими жрецами и также с трудом погашенное. Согласно преданию, восстание привело к переселению части мерянского населения к марицам или мордве, куда оно бежало от христианизации и связанного с ней усиления феодального гнета. Владимиро-Сузdalскому княжеству, в то время окруженному разными финно-угорскими языками, близкими по языку и культуре с мерей, в лице его феодальных верхов абсолютно невыгодно было иметь у себя в тылу многочисленное финно-угорское (мерянское) языческое население, которое в случае жесткого насаждения новой религии могло объединиться с соседними родственными народами. Напротив, была необходимость как можно скорее завоевать его для новой религии, сделать все возможное, чтобы мерянское население находилось не во враждебной оппозиции к христианству, а воспринимало его с симпатией как свою религию³⁸. В связи с этим в миссионерской деятельности и в богослужении среди мери использовался родной для нее мерянский язык. Первые миссионеры христианства, стараясь приобрести своих сторонников, прежде всего среди детей и молодежи, привлекали их к себе не только проповедью, а и тем, что угождали и кормили сладостями (Корсаков, с. 88). Для того, чтобы христианство закрепилось среди мери, проповедники старались увязать его с мерянскими традициями. Отражением этого является семантическое развитие мерянского слова *kóka «старшая сестра; тетя; вообще взрослая (часто незамужняя) женщина; (новое) крестная мать» (наст. изд., с. 102-104). Видимо, у мери, как и у других финно-угров (воз-

³⁷ Ср.: «Святитель (св. Леонтий. – О.Т.) их (мерянских детей. – О.Т.) привлекал ласковым словом и сладкой съестой, называемой кутьей. За каждое крестное знамение, сделанное на челе своем, отрок получал от святителя ложку кутти, а за выученную молитву сладкий медовый пряник, и чем молитва была длиннее, тем и пряник давался мальчику больше» (Титов, с. 9).

³⁸ Подобная линия церковной политики была всего лишь тактическим приемом. Когда позиция православия укрепилась (например, в XVIII в.), против мордовских язычников устраивались целые военные экспедиции с применением артиллерии, сопровождаемые насильственным сжиганием языческих кладбищ.

можно, как пережиток материнского права), большая роль в семье принадлежала старшей сестре, в связи с этим данное понятие имело для своего обозначения специальную лексему, отличающуюся от слова, обозначающего младшую сестру. Старшая сестра помогала родителям многодетных, как правило, семей воспитывать младших братьев и сестер, поэтому к ней относились с особым уважением. То же слово использовалось со значением «тетя», поскольку то же самое лицо становилось теткой детей младших братьев и сестер. По-видимому, православная церковь использовала эту традицию и как бы ее освятила тем, что именно *кóка (слово, очевидно, родственное мар. *кокá* «тетя» и морд Э *кака* «дитя, дитятко (< ребенок-первенец, т.е. в том числе и старшая сестра)» < ф.-уг. (диал.) *kakka «(ум.-ласк.) ребенок-первенец (преимущественно девочка)» становилась, как правило, крестной матерью своих младших братьев и сестер. Наряду с чисто языковым отражением обстоятельств христианизации мери в опоре на ее культурно-языковые традиции можно найти и другие, выходящие за пределы лингвистических, черты, свидетельствующие о том же. Так, по-видимому, совершенно не случайно на изображениях местного святого Сергия Радонежского он в большинстве случаев представлен вместе с медведем. В житиях святых, правда, нередко встречается мотив дружбы святых со зверями, птицами, иногда даже хищниками (напр., львами) (ср. изображения святого Франциска Ассизского, представленного кормящим птиц и т.д.), однако то, что святой, деятельность которого связана с территорией, в то время, кроме славян, населенной мерей, изображен именно с медведем (а не, например, с волком), станет вполне понятно, если вспомнить, что медведь (наряду с конем, змеей и уткой) был одним из наиболее почитаемых священных животных у мери, если не самым почитаемым (Горюнова, с. 139–148). Со священным медведем, убитым в единоборстве Ярославом, связывают основание Ярославля (в городе на месте этого события у слияния Волги с Которослью до сих пор известен Медвежий овраг, а на старинном гербе города изображен медведь). О длительном сохранении остатка

медвежьего культа у мери, известного, по-видимому, в прошлом всем финно-уграм, но лучше всего сохранившегося у ханты и манси, свидетельствует то обстоятельство, что до сих пор на постмерянских землях наличники окон (например, в г. Галиче, одном из бывших центров мери) украшаются стилизованным изображением следа медвежьей лапы с отпечатками когтей. Медведь здесь, как и в украшениях-оберегах, которые носили мерянские женщины, должен был, видимо, как тотемный зверь, беречь от зла и тем самым приносить счастье (для этого, очевидно, считалось достаточным изображение следа его лапы). Поэтому изображение медведя рядом с христианским святым, надо полагать, не только дань представлению о всемогуществе святого, приручавшего даже диких зверей. Молящийся перед изображением святого мерянин в какой-то мере мог чувствовать себя и поклоняющимся священному животному медведю. Тем самым христианская религия становилась ему особенно близкой, так же, как и вера в христианских святых, которые способны были даже поставить себе на службу наиболее почитаемое мерянами священное животное. Следы сохранения мерянского культа медведя, унаследованного затем (велико)-русской национальной традицией Центральной России, возможно, надо искать и в образе Русского Медведя как символа России (именно Великороссии)³⁹. Образ этот, связанный с чисто народной русской традицией, – поскольку официальным символом-гербом России, унаследованным ею как Третьим Римом от Рима Второго, Византии, было изображение двуглавого орла, – не совсем ясен в своих истоках (у других славян подобного символа-totema нет), если не принять во внимание традиций мери. При учете ее он становится ясен как одно из отражений меряно-славяно-русской преемственности. О бережности отношений к мерянским национально-этническим традициям – не противоречащей сказанному выше, а подтверждающей его – свидетельствует и такая деталь из труда Е.И.Горюновой (Горюнова, с. 233–234), где сообщается, что

³⁹ Один из недавних отзывов этого популярного народного символа России можно, видимо, усматривать и в Мишке олимпийском, эмблеме Московской олимпиады 1985 г.

довольно часто в местах совместных захоронений славян и мери (в случае смешанных браков) женщину-мерянку хоронили согласно мерянским традициям. О том же говорит длительное сохранение остатков культа другого священного животного мери, змеи, среди уже давно обруссевших потомков мери в Ярославской области. Е.И.Горюнова (с. 144) передает рассказ мальчика, записанный ею еще в 1947 г., который сообщил ей, что его бабушка носила на вороте рубашки вышивку, изображавшую стилизованную ползущую змейку. Все эти детали (языковые и внеязыковые), взаимодополняя друг друга, свидетельствуют о социолингвистической ситуации, характеризующейся толерантным отношением духовенства как к мерянскому языку, так и к мерянским этническим традициям, которые не только не искоренили насильственно, а, напротив, – во всяком случае, в начальный период христианизации мери, – старались использовать для мирного, безболезненного и согласующегося с культурно-языковыми традициями мери насаждения христианства. Именно этим обстоятельством и объясняется то, что мерянский язык, хотя он никогда не был и не стал официальным языком мерянских земель после проникновения туда славян, несмотря на постепенную славизацию этих земель, все же продолжал существовать на них свыше семи веков.

6. Меряно-(славяно-)русское двуязычие (XI в. – 1730/50 г.).

Его следы и этапы развития

С постепенным расселением славян на мерянской территории, начиная даже с того момента, когда славянские поселения, сменившие балтийские, появились у ее границ, между мерянами и славянами установились регулярные контакты, экономические, социальные и культурные. Осуществляясь они могли, как и всякое общение между людьми, только с помощью языка или языков. Конкретные и многообразные аспекты этих меряно-славянских (славяно-мерянских) контактов теперь, особенно когда только начинается их изучение, трудно установить, можно только попытаться

наметить их основные типы, воспользовавшись теми следами, которые они оставили в современном (в основном) русском языке постмерянских областей. Судя, в частности, по тем следам, которые меряно-славянские языковые контакты оставили в ономастике, первоначально значительное число мери не владело или было плохо знакомо со славяно-русским языком⁴⁰. В связи с этим славяне, входившие в контакты с мерей, вынуждены были в той или иной мере овладевать мерянским языком. Особенно это относилось к той части восточных славян, которая находилась у самих границ мерянской территории. Яркий пример этому дает название реки Москвы (< мер. *Moskē(juk) «(букв.) Конопля (т.е. коноплевая) (река)»), – река, известная тем, что по ее берегам выращивали коноплю и в ней же вымачивали (Халипов, с. 131). До большого озера (Московорецкой лужи), которое, видимо, длительное время было границей между славянскими и мерянскими поселениями и к западу от которого располагались славяне-вятичи, река получила название Коноплевка, что представляет собой точный и согласный с духом славянского языка перевод мерянского названия *Moskē(juk) (наст. изд., с. 56–57). Так перевели мерянское название реки на свой язык славяне, заставшие на ее берегах в верхнем течении мерянское население и в результате продолжительных контактов с ним и со сплошным мерянским населением, жившим к востоку от Московорецкой лужи, хорошо ус-

⁴⁰ Расположение в свое время среди мери возможных носителей протославянского языка в этом отношении ничего не могло дать мерянскому населению в смысле владения (или понимания) славянского языка вследствие двух основных причин: 1) протославянское население к моменту возникновения непосредственных меряно-восточнославянских контактов давно утратило свой язык, перейдя полностью на мерянский; 2) в последний период его сохранения оно, видимо, как это бывает при окончательной субстратизации любого языка, было сплошь двуязычным, в то время как мерянское население не знало языка славян, поскольку в этом не нуждалось. Таким образом, знание протославянского языка среди мери исчезло задолго до окончательного вытеснения протославянского языка мерянским и без того произшедшего за несколько веков до первых контактов с восточными славянами.

воившие их язык. К востоку же от Московрецкой лужи река получила название *Моска* (> *Московь* > *Москва*)-река. Следовательно, в этом случае славяне уже хуже владели мерянским языком, в результате чего элемент **juk* как наиболее частотный был ими хорошо усвоен, что же касается первого компонента, то он был оставлен без перевода. Однако если в данном случае славянское название еще точно калькирует (точнее, полукалькирует) мерянское, давая гибридное меряно-славянское название с оставленным без перевода первым компонентом и переведенным вторым, т.е. все же в какой-то степени точно передается (с частичным калькированием) внутренняя форма, структура мерянского гидронима, то в местах, более удаленных от границ мерянской территории, уже не сохраняется даже и эта (частично калькированная) форма соответствующих мерянских топонимов. Такие по происхождению названия мерянских рек, как *Яхрен* (Вл. обл.), *Маткома* (Яр. обл.), *Андоба* (Костр. обл.), возникшие, видимо, из первоначальных **Jährenjuk* «(букв.) Озера река» (наст. изд., с. 67), **Matkomajuk* «(букв.) езда (путешествие) река», т.е. река, пригодная для судоходства (или удобная для связи по воде) (наст. изд., с. 47), *AnDēBa*-(-*ə*)-*juk* «(букв.) Кормящая река, — река как приток Костромы, кормящая ее своими водами» (наст. изд., с. 81, 90), уже не имеют второй части (компонента) «-река». Видимо, он переведен и позже отброшен, поскольку здесь славяне, уже в меньшей степени пользуясь мерянским языком, отбросили постпозитивный (переведенный) компонент «-река» как чуждый структуре славяно-русского языка. Ввиду этого слово «река», как это обычно и свойственно славянским названиям рек, если и употребляется с ними, выступает не вторым компонентом сложного слова, т.е. в постпозиции к конкретному названию (в финно-угорских языках любое определение, даже несогласованное, выступает перед определяемым), а перед названием реки, т.е. (река) *Яхрен*, (река) *Маткома*, (река) *Андоба*. Таким образом, если те славяне, которые издавна жили на границе с мерянскими землями и общались с мерей, обладали хорошим знанием обоих языков (славян-

ского и мерянского), то уже те славяне, которые стали массово поселяться по ту сторону мерянской границы, хотя и владели в какой-то степени мерянским языком, но, по-видимому, недостаточно, в связи с чем полный перевод мерянских названий, как правило, не осуществлялся, переводились наиболее частотные и, следовательно, хорошо известные элементы мерянского языка, остальные лексические элементы названий оставлялись без перевода. В тех местах, где славянское население более длительное время общалось с мерей, лучше знало их язык и, — в результате славяно-мерянского двуязычия, — привыкло к его структуре, внутренней форме, там даже при частичном переводе эта форма сохранялась без изменений (*Москва-река*, — ср. рус. (< кар.) *Кимас-озеро* как калька кар. (фин.) *Kimas-järvi*). В тех районах, где большие поселения славян возникали вследствие массовых переселений без предварительных (и длительных) контактов с мерянским населением, связанных с усвоением мерянского языка, — возможно, причиной было то, что эти поселения с самого начала возникали как чисто славянские и не имели смешанного населения, — эта чисто мерянская структура топонимов не сохранилась. Иногда, впрочем, и в тех случаях, когда славянское население не владело в достаточном совершенстве мерянским языком, мерянские гидронимы могли переводиться: показателен здесь пример реки с названием *Каменка*, на которой находится населенный пункт **KiBol* (< (мер. ст.) **KiBalo*) «Каменная (букв. Камень) деревня». Безусловно, река имела свое собственное мерянское название, по-видимому, **Kijuk* «Каменная (Камень) река» (Горюнова, с. 43). Однако подобные случаи не противоречат высказанному мнению о худшем знании мерянского языка славянами, селившимися в глубине мерянской территории: они знали далеко не все мерянские лексемы, а только наиболее частотные и потому известные им. Не исключено также, что, поскольку населенный пункт **KiBol*, как показывает его название, был мерянским, перевод названия реки осуществлен самим мерянским населением во время его постепенного перехода на русский язык.

Объясняется это тем, что первыми восточнославянскими поселенцами на мерянской территории были, видимо, крестьяне, проникавшие небольшими группами, медленно прорасчавшимися на мерянскую территорию. Это постепенное проникновение, связанное с невысоким социальным положением славянских пришельцев, вызывало то, что они, будучи окружеными мерянским большинством, не чувствуя за своей спиной поддержки или покровительства сильной княжеской власти, были в максимальной степени заинтересованы в усвоении мерянского языка и, действительно, его хорошо усваивали и умели им пользоваться. Восточные славяне как участники массовых переселений, организуемых среднерусскими феодалами, у которых они находились в той или иной зависимости, уже, во-первых, не имели возможности в той степени укорениться в мерянской среде, как первые пришельцы, а, во-вторых, большечувствовали себя связанными с местной славяно-русской княжеской властью, чем со своими мерянскими соседями, к тому же часто отдаленными. Это становилось причиной того, что мерянский язык если и усваивался, то очень поверхностно. В лучшем случае это был примитивный «рыночный» язык, игравший чисто вспомогательную и все более второстепенную роль, особенно в меру того, как мерянское население, становясь двуязычным, все чаще и лучше стало пользоваться славяно-русским языком. По мере увеличения славянского населения на территории бывшей Мерянии и все большей славизации (частичной и полной) мерянского населения, все более редким становилось, видимо, знание мерянского языка славянами. По времени это совпало с периодом продвижения древнерусского населения на восток. В этот период, хотя здесь еще оставалось мерянское население, сохраняющее свой язык, знание им славяно-русского языка стало, однако, настолько обычным и частым явлением, а знание (славяно-) русским населением мерянского языка стало соответственно настолько редким и исключительным, что, в отличие от западной Мерянии, где в топонимах (гидронимах) переводились если не все, то по крайней мере их второй компонент *juk «река», здесь даже и эта часть гидронимов

перестала переводиться. В результате этого на крайнем востоке бывшей мерянской территории выступают полностью не переведенные мерянские по происхождению названия рек типа Портюг, Шортюг и под.

Таким образом, в развитии меряно-славяно-русских языковых отношений и двуязычия можно отметить несколько этапов: 1) период, когда во взаимоотношениях мери и восточных славян на пограничной территории и при первоначальном проникновении небольших групп восточных славян на мерянскую территорию преобладало славяно-мерянское двуязычие, т.е. когда славяне пользовались в общении с мерянами мерянским языком, а меряне могли не знать славянского языка (очевидно, ситуация меряно-славянского двуязычия возникала в то время, когда соответственно меряне, например, в качестве союзников славян в походах на Константинополь (Цареград) попадали на славянскую территорию); 2) с усилением проникновения славян на мерянскую территорию и соответственно постепенным усвоением мери славянского языка, — тем более при полной ее славизации, — уменьшаются количественно и качественно случаи владения славян мерянским языком и все более частым явлением становится меряно-славянское двуязычие мери; 3) указанный процесс завершается положением, при котором мера становится чуть ли не сплошь двуязычной; случаи полного незнания меряна-ми русского языка становятся исключительным явлением и, очевидно, соответственно таким же исключительным явлением становятся случаи хотя бы поверхностного знакомства восточных славян (русских) с мерянским языком; 4) по-видимому, последним этапом должен был быть этап окончательного и полного угасания мерянского языка, когда с переходом мери от меряно-русского к русско-мерянскому двуязычию (по-мерянски говорили изредка только с представителями старшего поколения) должен был наступить момент окончательного перехода к русскому одноязычию, при котором круг двуязычного (бывшего) мерянского населения все более сужался. Последним, как показывает аналогия других вымирающих или вымерших языков

(корнского, полабского, водского, камасинского), должно было быть поколение двухязычных мерянских стариков, которые могли говорить по-мерянски только со своими сверстниками, изредка (при нередком осуждении со стороны младшего поколения) обращаться по-мерянски к своим детям, их частично еще понимавших, но предпочитавших отвечать по-русски, и в основном с детьми и исключительно со внуками должны были говорить только на русском языке.

Как всегда при взаимодействии языков, влияние было двусторонним. Еще продолжавший существовать мерянский насыщался все большим количеством русских заимствований, – очевидно, поскольку единственно непроницаемой была здесь только грамматика, в принципе возможны были иногда целые фразы, состоявшие из русских слов, но оформленные по правилам мерянской грамматики. В свою очередь, и локальный или арго-тический русский, а через него частично и литературный язык (конечно, в значительно меньшей степени) воспринимали материально мерянские лексемы либо путем калькирования мерянскую лексическую или фразеологическую внутреннюю форму, мерянские обороты речи, мерянские грамматико-семантические, функциональные модели. Здесь можно встретить целый ряд многообразных случаев усвоения русским (особенно областным) языком мерянских элементов. Во фразеологии, например, сравнительно редкими были случаи усвоения русским областным языком, точнее, сохранения им в «беспереводной» форме мерянских оборотов (как правило, языковых формул), –ср. рус. (обл.) *Елусь по елусь* «пусть будет и будет (подразумевается – у тебя еда-питье)!» (из мер. *Joluš pa joluš / **tenän seye(-)(te)-juye(-)(te)» (букв. «Пусть будет и будет [у тебя еда (твоя) – питье (твое)]» (наст. изд., с. 79, 140) (пожелание типа рус. «Хлеб-соль!», высказываемое как приветствие тем, кто ест). С освоением мерянского (сказочного) фольклора, который при переходе на русский язык все чаще переводился, мерянские языковые формулы калькировались средствами русского языка. Примером подобной кальки, как известно, является рус. «Жил-был (царь)» (< мер. *Il'-ul' (car)...) (Ткаченко, 1979, с. 228, наст. изд., с. 133–134).

Включение мерянских элементов, позже ставших субстратными, в русский язык, связанное с (древне)русско-мерянским, а позже в основном с меряно-русским двухязычием, происходило разными путями. В основном их было два: 1) заимствование материальных элементов мерянского языка и 2) их перевод (калькирование) средствами русского языка. При этом, однако, возникали и смешанные случаи, когда вследствие недостаточно совершенного владения одним из языков при материальном заимствовании оказывались сохранными некоторые лишние, в частности словообразовательные, материальные элементы мерянского языка, а при калькировании вследствие неполного владения семантикой обоих языков (как правило, русского, с помощью которого производилось калькирование) кальки отражали семантику (внутреннюю форму) переведенного мерянского слова, не свойственную русскому языку. Встречаются также иногда случаи, когда в русский язык параллельно включалось как материальное заимствование, так и его калька. Первое использовалось в «тайном» русском языке (одном из его арго). Здесь у мерянского слова оказывалась русской только его флексия, при том, что слово параллельно (уже с мерянской флекссией) употреблялось в самом мерянском языке. В общий же, не «тайный», язык то же самое мерянское слово могло включаться в калькированном виде не только с русской флекссией, а и с аффиксами и корнем, благодаря чему слово становилось понятным и тем лицам, которые не знали мерянского языка или «тайного языка» в его мерянских элементах.

Так, касаясь конкретных примеров, можно указать на два случая материального заимствования мерянского элемента, произошедших в двух частях мерянской территории – западной, где данный лексический элемент был органично включен в русскую грамматическую систему, и в восточной, где подобного включения не произошло, – русская флексия стала наращиваться на мерянское слово с сохраненным в нем мерянским суффиксом. Речь идет о мер. *kole- (*koli(ms)) «умирать, гибнуть (чаще о животных); (тяжело) болеть», *kolema «гибель, умирание; (тяжелая) болезнь». В за-

падной части мерянской территории это слово вошло в русский язык в виде глагола *колеть*, в форме совершенного вида с префиксом *о-*, известного и русскому литературному языку. В восточной части бывшей мерянской языковой территории в русский язык из мерянского слово вошло в форме отглагольного существительного мерянского языка с характерным для него, как и для других финно-угорских языков, в частности, прибалтийско-финских и мордовских, суффиксом *-ма* (< мер. *-та), —ср. рус. (диал.) *колема* «болезнь» (Костр. губ. — Ветл. у.) (наст. изд., с. 105–106). От этого существительного путем прямого наращивания на него славянской глагольной флексии был образован глагол со значением «болеть»; *колема-ть* — *колема-ю*, *колема-ешь*, *колема-ет*. Пути разного включения того же самого мерянского лексического элемента можно объяснить тем, что на западе мерянской языковой территории, заселение которой славянами происходило постепенно при первоначальном значительном количественном перевесе мери, включение мерянских слов происходило еще в условиях существования славяно-мерянского двуязычия. При этом мерянское слово, проникавшее в славянский язык, более умело, в соответствии с правилами славяно-русской грамматики, в него включалось. На востоке мерянской языковой территории, как правило, мерянские слова — поскольку ко времени проникновения их в русский язык славяно-русское двуязычие как массовое явление уже отсутствовало — включались в русский язык самого же мерянского населения, т.е. были результатом меряно-русского двуязычия. Этим объяснялось явное несовершенство их адаптации. Очевидно, то же самое социолингвистическое обстоятельство, — калькирование элементов мерянского языка средствами русского языка мерянского населения при развитом в его среде меряно-русском двуязычии и его, как правило, отсутствии у восточных славян, — вызывало соответствующее явление, — несовершенство калькирования на лексическом уровне. Примером этого служат известные только в их русской форме названия двух, по-видимому, мерянских селений, имевших-

ся под Москвой (в быв. Звенигородском уезде) — Меря Старая и Меря Молодая (Третьяков, 1970, с. 136–137). Эти странные с точки зрения славянских названий населенных пунктов наименования, где, как известно, прилагательному *старый* противостоит эпитет *новый*, а не *молодой* (ср. Старая Русса, Новгород, Новосибирск, Новый Оскол и т.п.), находят свое объяснение, видимо, в том, что в мерянском, как и в мордовских языках (ср. морд. Э, М од «новый; молодой»), для выражения понятий «молодой» и «новый» использовалось одно и то же слово⁴¹. Поэтому предположительные мер. **(βanē) *merä* и **(ut') *terä*⁴², которые, согласно требованиям славяно-русской семантики, в данном случае допускали только перевод *Старая Меря* — *Новая Меря* мерянским населением, которое ввиду передачи понятий «молодой» и «новый» одним словом должно было путать слова *молодой* и *новый*, было передано как Меря Старая и Меря Молодая.

Понятие «умереть» в мерянском языке, как известно, передавалось с помощью трех синонимов (наст. изд., с. 81, 83, 105–106, 111–112). В нейтральном значении использовался глагол угорского происхождения **hali/e(ms)* «умирать». При передаче того же значения применительно к животным или к людям, обозначающего внезапную, «злую» смерть или смерть тяжелую (от болезни), использовался собственный исключительно мерянский глагол того же, что и угорский (финно-угорского < уральского), происхождения: **koli/e(ms)* «подыхать; гибнуть; умирать (от болезни); (>) (тяжело) болеть». Для передачи понятия «умереть» в смягченном (эвфемическом) виде использовался глагол **ul'si(ms)* от действительного причастия прошедшего времени *ul'ša(-ē)* «бывший». Таким образом, глагол буквально означал «стать бывшим, тем, кто был

⁴¹ Не исключено, что в латышском языке, где так же слово индоевропейского происхождения, имеющее значение «молодой», передает одновременно понятие «новый» (ср. лтш. *jauns* «молодой; новый»), это явление обусловлено финно-угорским влиянием.

⁴² При реконструкции (особенно в случае Меря Старая (Старая Меря)) автор опирается, — во многом условно, — только на данные других финно-угорских языков, так как соответствующие мерянские лексемы пока не обнаружены.

(но уже не есть, не существует среди живых)». В русском диалектном языке постмерянской территории (например, Ярославской и Костромской областей) известен глагол *побывшился* «умереть», представляющий собой кальку соответствующего мерянского глагола. В арго торговцев города Углича как «тайном языке» этот же глагол выступает в форме, непосредственно связанной с мерянской (русская здесь только флексия), поскольку понятие «умер (побывшился)» передается словом *ульшил*.

Ввиду того что мерянский язык во всех своих сохранившихся и ставших субстратными элементах полностью вошел в состав русского языка, у нас есть теперь возможность рассматривать результаты меряно-славяно-русского и славяно-русско-мерянского двуязычия в его влиянии на русский язык. Гораздо меньше возможностей делать выводы о влиянии русского языка на мерянский, так как собственно мерянских языковых памятников не сохранилось (или они пока не обнаружены). Судить об этом влиянии можно только на основе тех русских слов славянского происхождения, которые несут на себе явные следы мерянской фонетики или – реже – грамматики. Однако здесь, особенно в случае фонетических влияний, чрезвычайно трудно не смешать слова, действительно употреблявшиеся в мерянском языке, со словами, никогда в нем не употреблявшимися, а только испытавшими следы остаточных фонетических влияний, сохранившиеся в современном русском языке постмерянских территорий. Среди и без того небольшого количества реконструируемых слов, которые можно отнести к словам мерянского языка, можно без сомнения выделить только два слова мерянского языка, представляющие собой заимствования из славяно-русского: первое – глагол *koroni(ms) «прятать; хоронить» (ср. рус. (яр., костр.) коронить «то же»), второе – существительное *mama «мама, мать», судя по его сохранившейся мерянской звательной форме *mamaj (рус. (яр.) *мамай!* «мама!») (ср. морд. Э *авай* (зват.) «мать», морд. М. *тядяй* (зват.) «то же», мар. *кокай* (зват.) «тетя» (наст. изд., с. 125)). Эти заимствования, сохраненные в русском (диалектном) языке, в котором они пережили

мерянский язык, интересны тем, что отражают два этапа заимствований славяно-русских элементов в мерянский язык. Первый этап соотносим с первоначальным периодом меряно-славяно-русских контактов, когда меряно-славяно-русское двуязычие только лишь начинало развиваться в мерянской среде, и в целом для него оно не было характерно ни количественно, ни качественно. В это время, очевидно, далеко не все меряне знали славяно-русский язык и пользовались им; относительно ограниченным было также число случаев, когда меряне, даже знавшие славяно-русский язык, владели им совершенно свободно, скорее исключением, чем правилом, было использование славяно-русского языка в мерянской среде. В этот период в мерянский язык из славяно-русского заимствовались только те слова, которые обозначали новые для мери вещи или понятия. В случае глагола *koroni(ms) речь, видимо, шла о слове, обозначающем новое понятие – погребение умерших по славянскому обряду (очевидно, имелся в виду и его христианский (православный) характер). В позднейший период, когда двуязычие среди мери стало повсеместным явлением, принцип заимствования (славяно-)русских слов изменился, претерпев расширение. Теперь, когда уже и меряне нередко стали друг с другом говорить по-русски (например, при поездках или переходах от одного мер(ъ)ского стана («острова») к другому), когда неизвестно было, кем является встреченный, мерянином, понимающим мерянский язык, или русским (ср. ситуацию Лужицы с ее серболужицко-немецким двуязычием), в мерянский язык наряду с русскими заимствованиями, обозначавшими новые реалии и понятия, стали проникать и русские слова, синонимы мерянских. Ясно, что необходимости заимствовать слово со значением «мать» из славяно-русского в мерянский из-за отсутствия в мерянском соответствующего слова у мери не было. Новое слово вошло в качестве модного, престижного (ср., например, проникновение в русский язык вместо исконно русского *тятя* в результате русско-французского двуязычия дворянства французского по происхождению слова *пала* (от фр. *papa*) (Фасмер, III, с. 200). К концу существования мерянского языка ко-

личество таких слов, абсолютных синонимов мерянских, отличавшихся от них только стилистически, очевидно, значительно возросло. Мерянская речь, особенно разговорная, все больше (в ряде случаев) начинала напоминать своеобразное насыщенное славянизмами меряно-русское арго, так же как первоначально в какой-то степени могло напомнить русско-мерянское арго русская речь мерян. Обе разновидности речи лексически все больше сближались, полному их сближению «мешало» только употребление разных грамматик, мерянской в первом случае, русской во втором. С полным переходом мери на русский язык, когда она отказалась от своей грамматики в пользу русской, мерянский язык окончательно субстратизировался, т.е. полностью вошел в местный русский язык постмерянских территорий в своих сохранившихся реликтных элементах.

7. Социолингвистическая оценка мерянского языка в период его взаимодействия со славяно-русским (XI в. – 1730/50 г.). Постепенное ее снижение

По образному, но, в сущности, очень точному выражению Л.А.Булаховского (из беседы с аспирантами и научными сотрудниками Института языковедения АН УССР, кажется, не зафиксированной ни письменно, ни с помощью магнитофона), языки представляют собой нечто подобное валюте на мировом рынке. Так же, как колеблется курс валют, колеблется и «курс языков» в социолингвистической (социолингвистической) оценке как иноязычных народов мира, так и самих носителей того или иного языка. Согласно наиболее научно обоснованному, опирающемуся на марксистско-ленинскую методологию взгляду, распространенному в советской лингвистике, все народы и языки мира равны. Советской наукой отвергалось деление человечества на «высшие» и «ниżшие» расы и нации и точно так же отрицалось деление на извечно (и навечно) «лучшие» и «худшие» языки. Все языки одинаково хорошо обслуживают общества, которым они принадлежат, и уже в этом смысле они

абсолютно равны. Однако, – и в этом нет никакого противоречия по отношению к данному положению, – отдельные части человечества в силу объективных условий могут находиться на разных стадиях развития по отношению к общему уровню, достигнутому человечеством в целом в его наивысших проявлениях. Тем не менее, как вытекает из указанного взгляда, блестящее подтверждаемого многовековым опытом человечества, любой язык потенциально в состоянии достичь самого высокого уровня развития, если общество, обслуживаемое им, попадет в достаточно благоприятные условия. В этом смысле нет никаких оснований считать, например, превосходящими все языки мира индоевропейские языки (или какой-нибудь из них)⁴³. История в прошлом и настоящем, – и безусловно, в будущем, – представляет (и представит) множество примеров высоко развитых языков, не относящихся к индоевропейским, таких, как древнеегипетский, аккадский, арабский, иврит (среди семитохамитских), китайский (среди сино-тибетских), японский (по-видимому, изолированный), грузинский (среди иберийско-кавказских). Не составят здесь исключения и финноугорские языки, где чрезвычайно высокого уровня развития достигли венгерский, финский, эстонский. В настоящее время большие потенции к развитию проявляют среди языков Африки суахили и хауса, среди аборигенных языков Америки кечуа, среди эскимосско-алеутских языков гренландский (эскимосский язык Гренландии) и т.д. В тех случаях, когда то или иное этническое общество переходит с одного языка на другой (случаев таких в мировой истории довольно много), объясняется это не недостатками языка, а тем, что в данных конкретных условиях в силу изменения демографического состава общества, экономических связей, явных преимуществ слияния с другим этническим обществом, пользующимся другим языком, и целого ряда причин (очень часто их совокупности) обществу, носителю определенного языка, становится

⁴³ Ср., в частности, высказывание Я.Гrimма об английском языке: «В богатстве, мудрости и экономности средств ни один из живых языков не может с ним сравниться» (Комлев, с. 95).

выгоднее перейти на другой язык, вместо того чтобы развивать свой. Эти кризисные ситуации, не всегда переживаемые языками, бывают обычно связаны с длительным состоянием снижения социологической значимости языка как со стороны иноязычного населения, так и (что самое главное) со стороны его носителей. Такой переход совершается только в том случае, когда двуязычие становится не только массовым, но и совершенно универсальным, т.е. когда второй язык проникает буквально во все сферы жизни остаточного общества (его части), вытесняя первоначальный родной язык даже из сугубо домашнего, семейственно-бытового употребления. То двуязычие, которое гарантирует сохранность первого языка, должно быть по необходимости функциональным, т.е. в этом случае второй язык должен употребляться только в части функций, обычно выполняемых языком, или дублировать часть функций родного языка при общении с представителями другой национальности (национальностей).

В мерянском языке в последний период его существования стал выступать универсальный (всеобщий) тип двуязычия, предопределенный в значительной степени количественным перевесом восточнославянского населения при его качественном перевесе, обусловленном большей в это время развитостью социально-политического строя восточных славян, их экономики и культуры по сравнению с мерянскими. В связи с этим мерянское этническое общество все больше становилось частью местного славяно-финского (славяно-русско-мерянского) сообщества, которое в процессе консолидации должно было со временем трансформироваться в новое этническое (велико)русское общество, частью складывающейся новой отдельной восточнославянской (велико)русской народности, образованной преимущественно из тех восточнославянских племен, которым суждено было впоследствии сформироваться в русский народ. Важная роль в этом процессе при ведущей роли восточнославянских этнических компонентов, как признают в последнее время советские историки, должна была принадлежать финским племенам (Третьяков, 1966, с. 285–286), и в первую очередь мере как наиболее мощному союзу фин-

ских племен, вошедшему полностью в состав новой восточнославянской народности.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют более подробные сведения о социолингвистической оценке мерянского языка, чем те немногие факты, которыми располагает наука. Эти факты, экстравалингвистический и интраплингвистический, важны и ценные тем, что первый из них относится к началу поселения восточных славян на мерянской территории, а второй – к конечному периоду существования языка. Оба они в связи с деструктивным (нисходящим) характером развития мерянского языка в последний период его истории неоспоримо говорят о постепенном социолингвистическом снижении ценности мерянского языка и в соответствии с этим его оценки, причем в последнем случае со стороны его носителей.

В «Житии св. Леонтия» в несомненно положительном оценочном контексте приводится факт хорошего знания св. Леонтием, первым ростовским епископом, мерянского языка, – ср.: «Се бъ блаженный и костянтина града ражай и въспѣтаніе рускій же и меръскій язык добре умъяше книгамъ роускимъ и греческимъ велми житро-словесенъ сказатель» (Житие, II). Как вытекает из самого тона сообщения, знание мерянского языка, необходимого св. Леонтию в его миссионерской деятельности, оценивалось как часть широкой эрудиции святого, наряду со знанием греческого и русского языка и литературы, созданной на этих языках. Уже серьезность подготовки епископа-миссионера к своей деятельности, немаловажным условием успеха которой было хорошее знание мерянского языка, указывает на то, что за этим языком в еще смешанном этнически мерянско-славянском крае, каким тогда было Владимиро-Сузdalское княжество, усматривалась определенная (и немаловажная) значимость. Мерянский язык был тогда необходим в повседневном общении с мерянским населением, его было важно знать для успеха христианизации этого населения, что в тогдашних условиях, как упоминалось выше, имело большое политическое значение. Вполне возможно, что этот, тогда один из наиболее распространенных восточных финно-угорских языков, мог играть определенную роль и во внешних сно-

шениях с другими соседними финно-угорскими племенами, еще не входившими в состав восточнославянских княжеств, прежде всего мордовскими и марийскими. Меря могла выполнять ту же функцию, которую позже при проникновении восточных славян в югорские земли обских угров взяли на себя коми как толмачи и проводники.

С XIII–XIV вв., однако, в связи с постепенно развивающейся славянизацией мери и все большим распространением на бывших мерянских землях славяноязычного населения (в значительной части славизированных мерян) социолингвистическая значимость мерянского языка начала падать. Прежде всего стал падать его престиж в глазах славян и смежного с мерей неславянского населения. Ввиду того, что мерянский язык практически оказывался все менее необходимым, стала распространяться «лень» к его изучению среди восточнославянского населения. Выше уже отмечались некоторые вехи этого процесса, указывающие на все худшее и более редкое владение мерянским языком среди немерянского славяно-русского населения. Если вначале восточные славяне пограничных с мерянской областей могли владеть этим языком в совершенстве, то впоследствии это знание стало играть вспомогательную, второстепенную роль, свидетельную к ограниченному числу функций. Еще позже, в особенности с развитием массового, если не сплошного, двуязычия мерян (могли быть только разные степени владения, но славяно-русским языком владела почти без исключения вся меря), все более единичными, исключительными должны были становиться случаи владения мерянским языком среди русских. В основном его, по-видимому, не знал и не пытался знать из них никто, так как в этом отпадала всякая практическая необходимость. Вслед за русскими, вероятно, не стремились познакомиться специально с мерянским языком и ближайшие нерусские соседи мери, в том числе финно-угры. Очевидно, с процессом укрепления и расширения границ Русского государства все больше возрастала заинтересованность этих финно-угров в знании русского языка. Мерянский же язык, если в какой-то степени и усваивался ими, то только в процессе спонтанного общения

ближайших соседей мери, например марийцев, причем, надо полагать, в этом процессе наблюдался больший интерес мери к языку своих более многочисленных в это время финно-угорских соседей, чем наоборот⁴⁴. В конечном счете это приводило и должно было привести к тому, что значение мерянского языка, его ценность стали падать в глазах самой мери. Вследствие этого человека, знаяший один только мерянский язык или очень плохо понимавший русский – *(merän) jelman {**mirDə}⁴⁵ «(мерянского) языка {человек}» – стал восприниматься и в мерянской среде отрицательно как неразвитый, невежественный, глуповатый, о чем свидетельствует пережиток этого выражения в слове (в ярославских говорах) ельман (?) (< мер. *jel(ə)man генитив ед.ч. от *jel(ə)mə/(-a) «язык») (наст. изд., с. 98–99) «елоп, дурак, дурень, болван» (Даль, I, с. 518). Очевидно, видоизменением того же слова, связанным с ним этимологически – на что указывают форма, значение, а также в основном тот же (постмерянский) ареал – является рус. (обл.) (влад., ряз.) алма, алым⁴⁶ «простак, простофия, разиня, глуповатый парень» (Даль, I, с. 13). С этим согласуются и русские народные анекдоты о пошехонцах (Пошехонье – один из окраинных районов бывшей Мерянни, где дольше всего держался мерянский язык), которых изображают недалекими, глупыми людьми. По-видимому, это впечатление было вызвано тем, что здесь еще долго недостаточно хорошо понимали русский язык, хотя уже умели пользоваться им, что и создавало впечатление глуповатости здешнего населения. Их русская речь, насыщенная дли-

⁴⁴ Некоторую аналогию подобной ситуации можно найти в современном социолингвистическом положении водского и ижорского языков: представители малочисленной води нередко, кроме русского, знают также ижорский язык с относительно большим, чем у води, числом носителей, ижорцы, как правило, водского языка не знают.

⁴⁵ Чисто условное заполнение пока «пустой» клеточки системной таблицы мерянской лексики мерянанизированной формой мордовского слова мирде «муж; человек», соответствие которому, возможно, существовало в мерянском языке.

⁴⁶ Менее правдоподобна усматриваемая М.Фасмером связь этого слова (Фасмер, I, с. 73) с тур., азерб., казах. alym «ученый».

тельное время (даже после полного угасания здешнего мерянского языка) мерянскими словами и оборотами, отличающейся от других русских говоров формой русских слов, длительное время не позволяла им достаточно свободно общаться с носителями других русских диалектов (Корсаков, с. 19).

Во внешнем противоречии с указанными словами находится русское диалектное (постмерянское) слово, явно восходящее к тому же предполагаемому мерянскому выражению, но имеющее совершенно другое, едва ли не противоположное значение. Речь идет о слове (диал. – моск., ряз., кал.) **ялыман** «ярыжка, наглый мошенник» (т.е. как раз пронырливый, хитрый, а, следовательно, и умный человек)⁴⁷. Очевидно, данное слово, заимствованное из языка офень, связанных преимущественно с постмерянской территорией, отражает уже не собственно мерянский язык, а то арго (тайный язык), включавший ряд местных мерянских слов и выражений, но основанный уже на использовании ими русской грамматики (в своих операциях его использовали местные торговцы, в том числе разносчики товаров). Этот арготический русский язык, распространенный в ряде городов на бывшей мерянской территории (Галич, Кинешма, Нерехта, Кострома, Углич, Владимир и т.д.), имел свое собственное название, также связанное с мер. *jelma(-ë) «язык» (ср. венг. nyelv, мар. йылме «то же»), – ср. **елманский** «древний галицкий язык (язык Галича Мер(ъ)ского» (Виноградов, с. 45), **елыманский** «условный язык Галичан (жителей того же города)», **елыман** (**елима**) «человек, говорящий по-елымански (т.е. на этом условном (тайном) языке» (Виноградов, с. 45; наст. изд., с. 98–99). Следовательно, данное слово не говорит об изменении отношения к мерянскому языку в среде самой почти полностью ассимилированной мери или о параллельной положительной или высокой социальной его оценке в последний период существования, так как данные взаимосвязанные варианты одного и того же слова относятся к разным объектам – ме-

⁴⁷ Связь с казах., кыпч., азерб., туркм. alaman «шайка всадников» (Фасмер, I, с. 68) в данном случае сомнительна, хотя внешне слова и близки.

рянскому языку (в период полного его угасания), остававшемуся уделом забитых и простоватых (внешне) пошехонцев, и условному языку, которым пользовался «ярославский расторопный мужик» и другие жители постмерянской области, наряду с тем, что они великолепно владели своей уже родной русской речью, умело применяя в случае необходимости условный (русский же) язык, уснащенный (в особенности в прошлом) многочисленными элементами мерянского языка, бывшего часто родным языком их более или менее отдаленных предков.

8. Лингвистические данные о конечной границе существования мерянского языка

Выше были изложены соображения чисто исторического характера, позволяющие считать максимальным конечным рубежом существования мерянского языка первую треть или, что менее вероятно, первую половину XVIII в. Есть ли какие-либо чисто лингвистические данные, позволяющие считать это время достаточно правдоподобным? Косвенным доказательством этого служат данные современного областного и арготического (также областного постмерянского) русского языка, где еще во второй половине XX в. прослеживаются нередкие остатки мерянского языка, прежде всего в фонетике и лексике, а в калькированном виде в грамматике и фразеологии. Еще больше наблюдалось мерянских пережитков в начале XX века. Однако наибольшая их насыщенность относится к первой половине XIX в. и в особенности к его началу. Здесь встречаем многочисленные апеллятивные диалектные (и арготические) слова, в том числе лексемы, обозначающие наиболее общеденные понятия и легко передающиеся с помощью русских слов (лейма «корова», урма «белка» и под.), даже фрагменты подлинно мерянской (некалькированной) фразеологии и грамматики, не говоря о многочисленных следах «мерянского акцента» в русской фонетике постмерянских областей как отражениях фонетики мерянского языка. К сожалению, отсутствие диалектных фиксаций второй половины XVIII в. лишает воз-

можности выяснить, как тогда конкретно обстояло с мерянскими реликтными элементами, хотя постепенное исчезновение их из областного русского языка по мере приближения к нашему времени и, наоборот, возрастание их количества по мере удаления от него позволяет сказать, что там их было еще больше. Однако даже реликты начала XIX в. позволяют говорить о том, что водораздел между исторической эпохой мерянского языка и постисторической, постмерянской, находился еще в это время где-то очень недалеко. Итак, с этой точки зрения время 1730–1750 гг. как период, в рамках которого должна была лежать временная точка, отделяющая собственно историю мерянского языка от его постистории, истории его существования в виде субстратных пережитков русского языка, представляется весьма вероятным.

Близки к этим данным и те факты мерянского языка, которые располагаются во времени до этой предполагаемой хронологической границы, во всяком случае, недалеко от нее, особенно если учесть обычную медленность развития языковых явлений. В этом отношении весьма показательным является интересный факт, отражающий языковое развитие мерянского языка и отраженный в двух формах. Речь идет о названии населенного пункта бывшего Сузdalского уезда Владимирской губернии, известного в форме (записанной в 1578 г.) *Кибalo* (< мер. *KiBalo) и в позднейшей записи (относящейся к XIX в.) как *Кибол* (< мер. KiBol) (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 37). Переход гласных звуков низкого подъема в гласные более высокого образования (на ступень выше) в новых закрытых слогах – характерная фонетическая особенность мерянского языка (наст. изд., с. 96). Однако для того, чтобы этот переход произошел, надо, чтобы мерянский язык продолжал жить, причем довольно продолжительное время после того, как была зафиксирована более древняя форма. Ведь совершенно ясно, что если бы в вышеуказанном населенном пункте или его окрестностях ко времени записи данного названия перестали говорить по-мерянски, то в русский язык название вошло бы в более старой форме Кибalo. Предположить, что сло-

во было видоизменено в самом русском языке, слишком сомнительно, так как на восточной части мерянской территории встречается много других подобных названий деревень со вторым компонентом -*бол* (очевидно, развившимся из -*бало*, в результате частичного озвончения *palo (*Balo) в интервокальной позиции, –ср. венг. falu (< *palu) «деревня, село» (ср. Яхробол (Jachrobol), Шачебол (Šačebol), Толгобол (Tolgobol), Пачебол (Račebol) и т.п.) (Vasmer, с. 416–417). Если там, по всей видимости, данные формы возникли в самом мерянском языке (русскому языку подобная закономерность совершенно чужда), ничто не мешает предположить (другое более правдоподобное объяснение вряд ли возможно), что данное изменение произошло в результате развития мерянского языка, который, следовательно, сохранялся, в частности, на территории бывшей Владимирской губернии (совр. Владимирской области), не только в конце XVI в., а какое-то время и после. Это время, поскольку, как известно, языковые изменения происходят весьма медленно, вряд ли можно уложить в оставшуюся часть XVI в., т.е. между 1578 г. (время записи) и последним годом XVI в. (1600 г.). Скорее всего, изменение должно было произойти уже на протяжении XVII в. Принимать для возникновения данного явления время, относящееся к началу XVIII в., хотя с точки зрения чисто лингвистической ничего неправдоподобного в этом бы не заключалось, более сомнительно, так как к этому времени мерянский язык, очевидно, в западных и центральных районах прежней мерянской территории скорее всего уже был (почти) полностью вытеснен русским и мог сохраняться только у отдельных лиц. Последние его носители должны были сохраняться на крайнем востоке мерянской территории, где долгое время русские деревни были редкостью, что подтверждается местным названием *Ружбал* (Ružbal) (< мер. *RužBal) «(букв.). Русская деревня» (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 59). Для фонетического развития данного наименования вполне допустимо принимать столетний срок, т.е. время до 1678–1680 гг., что уже очень близко, с противоположной стороны, к предполагаемому конечному

рубежу существования мерянского языка, особенно если учесть, что речь идет не о всей мерянской территории, в том числе рассматриваемом районе ее, а о самой ее крайней восточной части. Принимая во внимание это расхождение, можно сделать поправку еще, по крайней мере, на лишние 50 лет, что даст 1730 г., т.е. время очень близкое (или совпадающее) с предполагаемым. Следовательно, и с точки зрения чисто языковых фактов нет ничего неправдоподобного в установлении 1730–1750 гг. тем рубежом, на котором закончилось существование мерянского как живого финно-угорского языка⁴⁸.

9. Периодизация истории мерянского языка

На основе того, что в настоящее время известно о мерянской истории в целом и о социолингвистических обстоятельствах развития мерянского языка, можно составить представление о периодизации истории мерянского языка, которое в силу фрагментарности имеющихся сведений и неизбежных лакун не может не быть лишено пока известной суммарности и схематичности. Ввиду того, что выше были подробно освещены основные узловые моменты двух исторических эпох мерянского языка, протомерянской и (собственно) мерянской, насколько они в настоящее время могут быть известны, при освещении периодизации в целом представлялось излишним столь же подробно на них останавливаться. По возможности здесь будут освещены только основные особенности каждого из рассматриваемых периодов. Несколько подробнее затронута периодизация только третьей, последней, постмерянской эпохи, о которой не было почти ничего сказано выше.

Как уже упоминалось, историю мерянского языка представляется оправданным раз-

⁴⁸ Очевидно, это был крайний срок жизни его последних отдельных носителей. Ввиду отсутствия словарных фиксаций мерянского (о чем уже писалось выше), хотя в это время и создавался словарь языков и наречий России, следует считать, что последние группы массовых носителей мерянского языка к этому времени полностью исчезли.

делить на три эпохи – 1) протомерянскую, 2) (собственно) мерянскую, 3) постмерянскую.

Протомерянская эпоха (7–6 тыс. до н.э. – конец 2 тыс. до н.э.) характеризуется в целом тем, что в это время еще не сложился мерянский как отдельный финно-угорский язык. В эту эпоху мерянский существует лишь как постепенно все сильнее выделяющийся на фоне с течением времени суживающихся языковых общностей (финно-угорской > финно-пермской > финской, возможно, > также прибалтийско-финско-мордовско-мерянской) идиом (говор > диалект > диалектная группа). Протомерянская эпоха в свою очередь разделяется на три периода: 1) раннепротомерянский, 2) среднепротомерянский, 3) позднепротомерянский, где более или менее четко устанавливаются пока только начальная и конечная границы эпохи. Граница между концом раннепротомерянского периода и началом среднепротомерянского, а также между концом среднепротомерянского и началом позднепротомерянского пока не поддается определению на основе абсолютной хронологии.

Для раннепротомерянского периода характерны контакты протомерянского идиома, уже отделившегося в составе финно-пермской ветви от угорской ветви финно-угорского языкового единства, с угорскими идиомами, в частности протовенгерским. С переселением протомери вместе с другими финно-пермянами на запад контакты протомери с уграми, в том числе протовенграми, прерываются. Зато в то же время у протомери в составе сперва финно-пермской, а затем финской общности устанавливаются контакты с протославянами, носителями фатьяновской культуры, продолжающиеся всю протомерянскую эпоху. Для раннепротомерянского периода для мери, входящей в финно-пермскую общность, характерны, таким образом, контакты с прауграми. Это, по-видимому, объясняется тем, что меря, входя в финно-пермскую общность, располагалась в то же время где-то в восточной части финно-пермской языковой территории, где она непосредственно примыкала к границе угорской. Это позволяло мере находиться в постоянных тесных контактах с уграми, что способствовало или выработке общих с праугорским (в том числе протовенгерским) черт,

или тому, что праугорский идиом мог влиять на протомерянский. Для среднепротомерянского периода характерно обособление протомери вместе с другими пражинскими племенами от прауральян. Протомерянский идиом в этот период развивается вместе с другими пражинскими идиомами – предками будущих прибалтийско-финских, мордовских и марийского языков. В позднепротомерянский период протомерянский идиом особенно тесно сближается с праприбалтийско-финским и прамордовским. Очевидно, в этот же период все эти идиомы испытывают известное влияние со стороны булгарского языка. Конец позднепротомерянского периода, который застает протомерию где-то в непосредственной близости от ее исторической территории, куда она вместе с другими финнами переселилась с востока, или, – в том числе, – и на ее части, характерен особо тесным сближением протомерянского с прарабалтийско-финским. Контакты протомерянского идиома с протославянским, особенно усилившиеся в следующий период уже (собственно) мерянской эпохи, продолжаются.

(Собственно) мерянская эпоха (1 тыс. до н.э. – 1730/50 г.) распадается в свою очередь на два больших основных хронологических отрезка – А) древнемерянскую (1 тыс. до н.э. – IX в.) и Б) новомерянскую пору (X в. – 1730/50 г.). В целом (собственно) мерянская эпоха характерна тем, что в начале этого времени протомерянский идиом, возможно, не без некоторого воздействия протославянского, оказавшего на него известное влияние и способствовавшего кристаллизации его специфических черт, окончательно выделился из других финских языков и превратился в отдельный финно-угорский мерянский язык. В течение этой эпохи, относящейся к собственно истории мерянского, сложились окончательно и продолжали развиваться его специфические структурные (фонетические, грамматические, лексические и фразеологические) черты.

Древнемерянская пора подразделяется в свою очередь на раннедревнемерянский период (1 тыс. до н.э. – V в.) и позднедревнемерянский период (VI–IX вв.).

Раннедревнемерянский является доисторическим периодом в истории мерянского языка. О существовании его, как и

его носителя, мерянского этноса, свидетельствуют археологические данные. О том же говорят языковые показания, субстратные включения из протославянского языка, сохраненные постмерянскими русскими говорами, реконструкция которых, с одной стороны, подтверждает их славянское происхождение, с другой, показывает, что они были включены в финно-угорский мерянский язык, испытав влияние его фонетики (ср. мер. *βeň (< *βäni) «двурогие вилы» < протосл. *dväni «предмет, включающий две части, двойни», *cölə «целый, здоровый» < протосл. *cölü/-ть) «то же»). В этот период (возможно, только до начала н. эры) мерянский находился в наиболее тесных контактах с протославянским, носители которого обитали на одной территории с мерей и постепенно были ею ассимилированы. Окончательное исчезновение протославянского языка на мерянской территории установить пока невозможно (максимальной границей мог быть V в., хотя не исключено, что это произошло несколькими веками раньше, на границе старой и новой эры). Можно допустить, что в тот же период начались непосредственные контакты мери с балтами, ее западными соседями.

Позднедревнемерянский период характерен тем, что является первым историческим периодом в истории мери и ее языка. В VI в., т.е. начале периода, появляется первое письменное упоминание о мере: готский историк Иордан называет мерян (Merens) в перечне других народов. В IX в., т.е. конце периода, о мере впервые упоминает древнерусская Ипатьевская летопись. До VI–VII вв., очевидно, продолжаются контакты мери с балтами (прежде всего, с наиболее выдвинутым на восток балтийским племенем голядью). К концу этого периода все больше усиливаются связи мери с восточнославянскими племенами – вятичами, кривичами и новгородскими словенами, которые, частично вытеснив западных соседей мери, балтийские и финно-угорские племена, преимущественно голядь и весь (вепсов), подходят вплотную к границе мерянских земель. Между восточными славянами и мерей устанавливаются тесные союзнические отношения, однако в это время восточные славяне еще не селятся на мерянской территории.

Новомерянская пора (X в. – 1730/50 г.) характеризуется в целом тем, что в этот период начинается и продолжается переселение восточных славян на мерянские земли, все более усиливаясь во многом под давлением внешних обстоятельств – нападения тюркских завоевателей (печенегов и половцев) на юг Киевской Руси, нашествия Батыя. Количественный, а частично и качественный перевес восточных славян и их материальной и духовной культуры над мерей и ее культурой приводит постепенно к славянизации мери. Однако этот процесс, с разной интенсивностью на разных территориях и в разные периоды, протекает постепенно и занимает в общей сложности, очевидно, более восьми веков. Мерянский язык исчезает поэтому не бесследно, оставляя свои многочисленные реликты в ономастике и апеллятивах локальных социолектов постмерянских областей, что позволяет его частично реконструировать в постмерянскую эпоху.

Новомерянская пора позволяет разделить ее на три периода – 1) ранненовомерянский (X – XII вв.), 2) средненовомерянский (XIII – XVI вв.), 3) поздненовомерянский (XVII – 1730/50 г.).

Ранненовомерянский период является временем, когда в общем мерянский язык употребляется на всей исторической территории его былого распространения. Восточные славяне в это время в основном сосредоточиваются в городских центрах и их окрестностях и в отдельных местностях, не занятых до того мерей. Некоторая этническая и языковая чересполосица отдельных мерянско-славянских местностей не мешает повсеместному распространению мерянского языка, так как, во-первых, территориальные разрывы между отдельными районами его распространения, вызванные появлением восточнославянских этноязыковых островков, не особенно широки, во-вторых, начавшаяся славянизация мерянского общества (прежде всего, его верхов) не особенно глубока (очевидно, даже мерянская знать сохраняет знание своего языка), в-третьих, в это время еще довольно частым явлением, особенно в полограничных областях, где восточные славяне издавна соседствовали с мерянами, было не только поверхностное понимание, но и

хорошее знание мерянского языка восточными славянами. Примерно с XI в. начинается христианизация мери, натолкнувшаяся на ее сопротивление и вызвавшая в 1071 г. крупное восстание, сопровождавшееся, по преданию, переселением части мерян к марийцам или мордовцам. В целях христианизации, по-видимому, осуществляется (св. Леонтием, первым ростовским епископом и его преемниками) перевод богослужебной литературы на мерянский язык (по крайней мере частично) непосредственно с греческого. Христианизация проводится в основном чрезвычайно толерантно, с максимальной опорой на культурно-этнические традиции мери и с использованием мерянского языка, – в связи с этим должны были, по-видимому, появиться и первые мерянские языковые письменные памятники (возможно, не сохранившиеся), – и поэтому, за исключением первого периода неудач, в общем христианство довольно быстро распространяется среди мерянского населения. Проникновение восточных славян на мерянские земли носит вполне мирный характер, поскольку меряне, как и древнерусское население, заинтересованы в укреплении своего союза, а обе части населения, – мерянское и древнерусское, – во всех слоях удачно дополняют друг друга. Отсутствие каких-либо конфликтов объясняется, по-видимому, полной равноправностью обеих частей складывающегося на территории Владимиро-Сузdalской (> Московской) Руси, бывших мерянских землях, общества. Мирный и взаимовыгодный славяно-финский (русско-мерянский) симбиоз приводит ко все более тесному срастанию общества, его консолидации во всех частях. Ввиду постепенно все усиливающегося перевеса славян в нем начинает преобладать не мерянская, а славяно-русская этноязыковая основа. Однако мерянский элемент растворяется в славяно-русском не бесследно и не безрезультатно (и не только в языковом отношении). Он накладывает свой отпечаток на поселившейся на мерянских землях части древнерусских племен. Вместе с влиянием других финно-угорских племен, растворившихся полностью или частично в здешней части восточного славянства, – мещере, муроме, веси, заволоцкой чуди, води, ижоре, части мордовцев,

мерянский элемент объективно способствовал ее выделению из древнерусского этноязыкового единства и превращению в отдельную восточнославянскую (велико)русскую народность, а затем нацию.

В средненовомерянский период, частично под влиянием грозных событий XIII в., нашествия Батыя, вызвавших приток древнерусского населения на здешние земли и отделивших мерю надолго от других финно-угорских народностей, связи с которыми поддерживали мерянскую культуру, а отчасти из-за перевеса древнерусской культуры, славянское население все больше начинает преобладать над мерянским. Увеличение численности славяно-русского населения во многом стимулировало процесс славянизации (> обрсения) самой мери. Это приводит к тому, что прежде сплошная мерянская этноязыковая территория с отдельными вкраплениями славяно-русских островков, напротив, дробится на отдельные «мер(ь)ские станы» (мерянские этноязыковые острова), количество которых с течением времени уменьшается. Вследствие этого мерянский язык, вместо того чтобы консолидироваться, все больше дифференцируется на своих все более разобщенных и удаленных территориях, а это в свою очередь делает речь мери из разных местностей все менее взаимопонятной. В такой ситуации не исключена отчасти роль славяно-русского как языка-посредника даже между мерей разных, территориально далеко отстоящих местностей. Тем более необходимо знание славяно-русского языка для мери вне мерянских, все более суживающихся, этноязыковых островов («станов»). Сложившаяся ситуация ведет объективно к тому, что в этот переходный период, особенно к его концу, мерянский язык среди мери все больше сменяется славяно-русским. Если в предыдущий период даже мерянско-русское двуязычие было среди мери не повсеместным и в основном, очевидно, имело место среди высших слоев мерянского населения, причем еще нигде двуязычие не сменилось среди мери славяно-русским одноязычием, то в это время оно начинает со все большей полнотой охватывать даже средние и низшие слои мерянского общества. Что же касается мерянской знати, то она, как правило, полностью ру-

сифицируется (об этом говорит, например, по-видимому, мерянский по происхождению русский дворянский род *Куломзиных* в Костромской губернии). В этот период, однако, мерянский язык еще сохраняется не только в восточных, наиболее удаленных районах (бывшей) Мерянии, но даже в ее центре (н. п. *Кибало* (1578 г.)).

Поздненовомерянский период характеризуется тем, что к его концу мерянский язык окончательно перестал употребляться даже в тех местностях, преимущественно на крайнем востоке бывшей мерянской территории, где он еще к тому времени сохранился. Установить с абсолютной точностью дату полного угасания мерянского языка, которая должна была совпасть со смертью последних его носителей, по крайней мере пока, невозможно, тем более, что, к сожалению, в России того времени этот исчезающий язык (в отличие, например, от исчезавшего примерно в то же время на западе Германии полабского) не привлек ничего внимания. Можно попытаться только указать ориентировочную дату, позже которой мерянский язык скорее всего уже не употреблялся. Сделать это можно лишь на основании некоторых косвенных указаний. Упоминание в одном из документов середины XVIII в. на крайнем востоке бывшей мерянской территории «мер(ь)ского стана» («Георгиевская (церковь), что в Мер(ь)ском (стане)») говорит о том, что в то время в этой местности могли еще быть живы последние носители мерянского языка или что, если их уже не было, это исчезновение произошло недавно и память о них была совсем свежа. По-видимому, поскольку лингвистические факты дают возможность допустить существование и развитие мерянского языка до второй половины XVII в. даже в центральной части бывшей мерянской территории, к тому же как языка целых групп населения, тем более следует считать возможным его существование, причем как языка массового использования, до конца XVII – начала XVIII в. на крайнем востоке бывших мерянских земель. Однако даже здесь он явно клонился к полному упадку. Ввиду того, что начавшаяся в 30-х годах XVIII в. и продолжавшаяся в 50-е годы и позже большая лексикографическая работа по фиксации всего многообразия языков и диалектов, в

частности идиомов Поволжья, уже не отразила мерянского языка, можно быть уверенными, что к 20-м годам этого века он перестал быть языком массового употребления, хотя кое-где и мог сохраняться в качестве языка последних лиц пожилого возраста, которые могли его еще помнить и знать как язык своего детства, когда на нем говорили еще все поколения, и иногда употреблять при встрече с лицами своего возраста, еще его не забывшими. Однако жизнь этих лиц, а, следовательно, и существование мерянского языка, по-видимому, не перешагнула временного рубежа 1750 или даже 1730 г.

Таким образом, существует определенный промежуток времени, отделяющий период, когда мерянский язык в последних местностях, где он был распространен, еще употреблялся всеми тремя поколениями, от периода, предшествующего его окончательному исчезновению, когда он сохранялся по инерции только среди старииков, представителей самого старшего поколения и, возможно, пассивно был частично знаком их детям, но уже совершенно неизвестен молодежи, их внукам. Предположить подобную ситуацию в последний период существования мерянского языка можно по аналогии других, известных науке, случаев исчезновения языков, связанных с переходом их носителей на другие языки, в частности на примере полабского языка. В этот период социолингвистическая ценность мерянского языка, очевидно, очень снизилась даже в глазах его носителей, для которых он стал таким же никому не нужным реликтом, как давно вышедшая из моды старинная одежда, устаревшие обряды и прочие культурные особенности подобного характера. Некоторая привязанность к мерянскому языку могла сохраняться только у старииков, которым он мог быть дорог как часть воспоминаний детства и молодости, но передать эту свою привязанность своим детям и внукам они уже не могли, так как те полностью в это время переориентировались на местную русскую культуру и выражавший ее местный русский язык. Этот переход и переориентация могли происходить тем проще и естественней, что к тому времени местный русский язык и культуру и соответственно мерянский язык и культуру уже не отделяли такие расхождения, как в пору, когда на

мерянских землях оседали первые восточнославянские поселенцы. С одной стороны, в мерянский язык вошли, несомненно, многочисленные заимствования из русско-славянского языка, судить о чем можно как на основании непосредственно известных реконструированных данных самого мерянского языка (ср. *koroni (-ms) «хоронить», *mama «мама, мать» (зват. *mama j)), так и на основании фактов даже таких высокоразвитых финно-угорских языков, как венгерский, финский, эстонский, для которых характерно большое число славянских заимствований. С другой же стороны, в процессе многовекового взаимодействия местный (славяно-русский) язык впитал в себя многочисленные, — материальные и калькированные, — заимствования и включения из мерянского языка. Это сопровождалось, видимо, также активным «переводом» наиболее распространенных и популярных мерянских сказок, пословиц и поговорок, песен и других фольклорных произведений. Поэтому мерянин, чьему способствовало и его двуязычие, переходя со своего первого мерянского на второй местный русский язык, не чувствовал себя в нем как в совершенно чуждой стихии. Многое в нем и по форме, внешней или внутренней (например, калькированные сказочные формулы или парные слова), и по духу (знакомые фольклорные сюжеты и мотивы) могло напоминать ему мерянскую национально-культурную традицию, только переодетую в платье другого, к тому времени уже хорошо знакомого языка.

С 1731/51 г. начинается постмерянская эпоха, длившаяся и в настоящее время. Если считать, что она связана только с существованием русских постмерянских локо- и социолектов, т.е. диалектов и арго бывшей мерянской территории, включивших в себя пережитки мерянского языка, то завершение ее следует связывать с их полной нивелиацией и повсеместным распространением на данной территории русского литературного языка. Если же соотнести ее со всей суммой мерянских включений, когда-либо входивших в русский язык, в том числе и вошедших навсегда в русский литературный язык посредством русских постмерянских говоров, то эта эпоха во всяком случае продлится на все время существования русского языка. Последний

взгляд, по-видимому, следует считать более точным, чем первый, поскольку, не говоря уже о том, что в процессе взаимодействия русского литературного языка с местными (постмерянскими) говорами, процессе двустороннем, в русский литературный язык могут еще войти в материальной и калькированной форме диалектные мерянизы, из литературного языка и русской фольклорной традиции вряд ли выйдут прочно вошедшие туда мерянские по происхождению материальные заимствования и кальки типа (*о*)колеть или наиболее типичной русской сказочной формулы *Жил-был...* и т.п. Навсегда, видимо, останутся на карте Центральной России десятки названий рек, озер, сел и городов мерянского происхождения (таких, как *Яхрен*, *Неро*, *Кибол*, *Москva* и многие другие). Мерянский язык, полностью влившись в своих сохранившихся элементах в русский язык, язык-преемник, стал тем самым его неотъемлемой частью. Следовательно, скорее всего, постмерянская эпоха продлится на все время существования русского языка. Парадоксальность ее заключается, однако, в том, что с течением времени из русских постмерянских говоров все в большей и большей степени выпадают субстратные мерянские включения и параллельно (тем временем как их становится все меньше и меньше в русском языке) все в большей и большей степени усиливается к ним интерес науки.

В связи с последним обстоятельством, наиболее существенным при характеристике постмерянской эпохи, всю ее допустимо разделить на три периода – 1) раннепостмерянский (1731/51 – 1810 гг.), 2) среднепостмерянский (1811 – 1890 гг.), 3) позднепостмерянский (с 1891 г.).

Для раннепостмерянского периода характерно сохранение наибольшего количества постмерянских элементов в местных русских говорах, арго и ономастике. Однако в этот период ввиду отсутствия особого интереса как к русскому фольклору, в текстах которого они могли выступать, так и к русской диалектологии они или совершенно не фиксировались, или их записи были настолько эпизодичны, что эти фиксации до нашего времени не дошли (или, возможно, просто не обнаружены).

В среднепостмерянский период возникает интерес к произведениям народной словесности, которые начинают собираться и издаваться, а также к изучению русских говоров. Началом периода следует считать 1811 г., когда с возникновением Общества любителей российской словесности и началом публикации его издания «Труды Общества любителей российской словесности» появляются первые издания диалектных русских, в том числе постмерянских, материалов. Тем самым в распоряжение науки поступает ценный (пост)мерянский, часто совершенно уникальный материал, поскольку позднее записанные и опубликованные тогда лингвистические факты вышли из употребления. Археологические работы в области мерянских древностей заставляют ученых впервые задуматься над мыслью о реконструкции и исследовании мерянского языка по его сохранившимся остаткам. В связи с этим, например, историк Д.Корсаков в своей книге «Меря и Ростовское княжество: Очерк из истории Ростово-Сузdalской земли» (Казань, 1872) намечает краткую, но содержательную программу реконструкции мерянского языка, в которой правильно определены основные пути необходимого при этом научного поиска⁴⁹. Однако намеченная программа научного исследования мерянского языка по его сохранившимся остаткам в этот период не была не только осуществлена, но даже и начата.

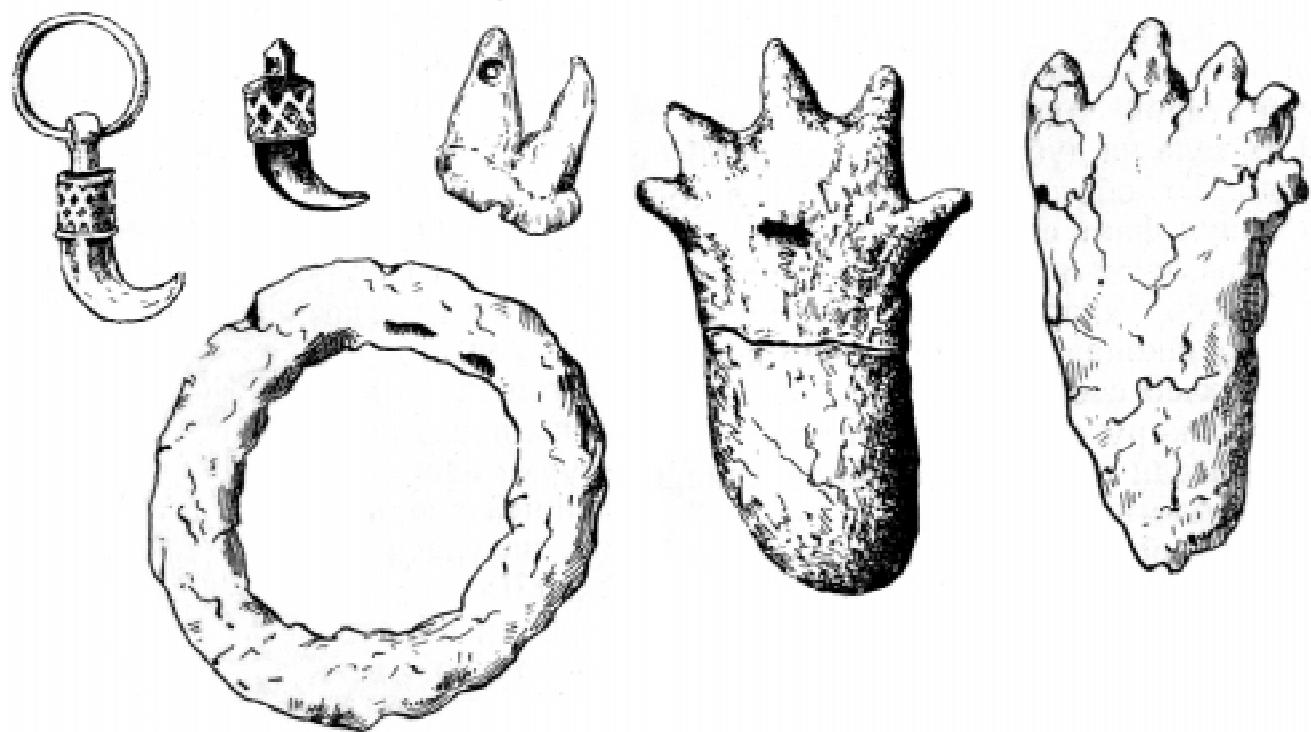
Это стало уделом следующего, позднепостмерянского периода, начало которого ознаменовано появлением первой научной работы, посвященной специально исследо-

⁴⁹ Ср.: «Главная особенность теперешнего населения губерний Ярославской, Костромской и Владимирской заключается в особом свойстве говора... нет никакого сомнения в том, что в оттенках говора великорусов вышеназванных губерний роль Мери далеко немаловажна и что при тщательном изучении наших областных наречий представится со временем возможность, быть может, вполне восстановить забытый, но не пропавший язык Мери. Остатки этого языка, кроме того, могут находиться в местных названиях уроцищ и поселений... Язык есть главное и самое определенное выражение народности, и более точное изучение языков мордовского и черемисского и сравнительное изучение финских наречий вообще несомненно приведут к любопытным выводам относительно языка Мери» (Корсаков, с. 15–16, 36).

ванию мерянского языка. Это был труд Т.Семенова «К вопросу о родстве и связи мери с черемисами», опубликованный в «Трудах VII археологического съезда в Ярославле 1887» (М., 1891, т. 2, с. 228–258). Здесь на основании анализа 403 местных, предположительно мерянских, названий в сопоставлении с их марийскими (черемисскими) соответствиями впервые было высказано мнение по поводу этимологии целого ряда мерянских по происхождению названий. Несмотря на то, что в работе Т.Семенова высказан устаревший в настоящее время взгляд, согласно которому мерянский язык якобы особенно близок к марийскому, взгляд, опровергаемый позднейшими исследованиями, работа имеет ценность как первая попытка осмыслить лексический материал мерянского языка. Часть приведенных в ней этимологий вполне научно доказательна и поэтому до сих пор не утратила своего значения. С появления работы Т.Семенова в 1891 г. датируется начало научного исследования мерянского языка и, тем самым, начало позднепостмерянского периода. В дальнейшем успехи финно-угрове-

дения, с одной стороны, и русской диалектологии, с другой, позволили с еще большим успехом продолжить начатую им работу, которая получила свое развитие в появившихся позже работах М.Фасмера, П.Равилы, А.И.Попова, О.В.Вострикова, С.Г.Халипова, О.Б.Ткаченко. Работа по реконструкции и исследованию мерянского языка нуждается в еще большем внимании к себе и ее интенсификации, что, помимо всего прочего, вызывается усилившимся процессом нивелизации русских народных говоров, вместе с которыми исчезают и постмерянские элементы.

Задача реконструктивного исследования мерянского языка и мерянских древностей в целом, имеющая важное значение для воссоздания истории Центральной России до прихода туда восточных славян, для возможно полного воссоздания мерянского языка, ценного самого по себе, для финно-угроведения, русистики, славистики, теории субстрата, как одна из важных комплексных задач должна быть решена объединенными усилиями ученых, представляющих все гуманитарные науки. Ведущая роль при ее решении должна принадлежать языковедам.



Предметы культа медведя IX–XI вв. из Поволжья.
[22, стр. 147]

II. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ФАКТАМ ВНУТРЕННЕЙ ИСТОРИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ПЕРИОД СУБСТРАТИЗАЦИИ)

Многообразные вопросы внутренней истории субстратных языков как в период их существования, так и в особенности с момента их окончательной субстратизации, т.е. своеобразного «свертывания», связанного со входлением в язык-преемник, не исчерпываются полностью, однако в значительной степени сосредоточиваются и группируются вокруг двух едва ли не наиболее важных здесь проблем – 1) проблемы стойкости разных элементов языка и их сохранения в составе субстрата, возникшего на основе данного языка, 2) проблемы взаимовлияния и взаимной адаптации субстратного, а перед тем субстратизирующегося, языка и языка-преемника, в данном случае языков мерянского и славяно-русского. Эти проблемы в том объеме и степени, в которой это возможно теперь, и будут рассмотрены ниже.

1. Проблема степени стойкости разных составных частей мерянского языка в элементах его субстрата

Проблема стойкости языков при их взаимодействии принадлежит к одной из наиболее сложных проблем общего языкоznания. Стойкость языка в целом предопределяется стойкостью той этнолингвистической общности, а точнее общества (этноса), который им пользуется. Однако данная формулировка слишком обща, особенно если иметь в виду историю развития этносов на протяжении многих тысячелетий. Если взять, например, Западную и Центральную Европу и проследить ее историю за время, не только относящееся к нашей эре, а к эпохе намного древнее (за тысячу или несколько тысячелетий до нашей эры), и при этом посмотреть на нее с точки зрения существующих в настоящее время там го-

сударств, стран и этнических территорий, то на этих землях за единственным исключением Страны басков с ее древним доиндоевропейским языком – да и то, видимо, потому, что у нас нет возможности заглянуть в историю земли, занятой этой страной, глубже определенного исторического рубежа – не обнаружится ни одной местности, где население на протяжении обозримой его истории не меняло бы по крайней мере один раз (а то и дважды-трижды) свой язык. Тем не менее, очевидно, на одной и той же территории, помимо пришельцев и прокатывавшихся по ней волн миграций, подобных, например, т. наз. эпохе великого переселения народов (а таких эпох была не одна, а много!), все время оставалось какое-то постоянное, возможно, даже всегда преобладавшее автохтонное население. И вот оно-то в основном и меняло несколько раз свой язык. Если смотреть на эти смены языков с точки зрения этого автохтонного по своему составу общества, то они будут выглядеть как смена одежды, внешней формы, в которой развивалась местная культура, а между последовательно сменяющимися, облечеными в различную языковую «одежду» культурами можно усмотреть общую единую линию преемственности, где новый язык как носитель новой (для данной местности) культуры наслался на предшествующую культуру, заключенную в форму предыдущего, впоследствии вытесненного языка. Линия преемственности между ними осуществлялась в значительной степени с помощью языкового субстрата, являющегося частичным отражением более широкого понятия субстрата культурного, той совокупности наследия материальной и духовной культуры, которая передается автохтонным (на данном уровне) населением новому населению, образовавшемуся в результате слияния автохтонов и пришель-

цев. Этот культурный субстрат входит как важная составная часть в новую культуру, образующуюся в результате слияния культуры автохтонного и пришлого населения.

Язык формирующейся новой этнической общности играет первостепенную роль в создании ее культуры, в которой сливаются воедино культура, принесенная извне, и культура местная, в последнюю (заметим, что это очень важно) в свою очередь включены в какой-то степени предшествующие, культурные, в том числе языковые, субстраты в своих наиболее стойких элементах. Духовная культура предшественников – это, как правило, словесная культура, хранящаяся (в дописьменный период) в устном народном творчестве (сказках, песнях, загадках, сентенциях народной мудрости – пословицах и поговорках, собрании важных примет и наблюдений над погодой и природой в целом, способомведения хозяйства и жизнью вообще, что часто входит в эти сентенции), а также в особенностях языкового этикета, языковых формулах, связанных с местной этикой. Часть этих важных местных элементов культуры заключена в самом языке, прежде всего в его фразеологии и, будучи плохо выделяема, допускает в случае их особой ценности только буквальный перевод, т.е. калькирование. Наиболее ценное из местной культурынейшей частью, – если появление новой волны пришельцев не связано с поголовным истреблением автохтонов (случаем не таким уж частым), – как правило, бесследно не пропадает, поскольку переодевается в форму нового языка, т.е. переводится, чему способствует период двуязычия. Примеров перевода старого фольклора с одного местного языка на второй, позднейший, можно найти достаточно много как в отдаленном, так и в более близком прошлом. При перенесении одной (более ранней) культуры данной местности в другую (более позднюю) многое остается не переведенным (переведенным не до конца), т.е. сохраняется или часть материальных особенностей и элементов языка-предшественника, или внутренняя форма его слов и оборотов. Эти непереведенные (или не до конца переведенные), часто в силу своей непереводимости, связанной к тому же с

их особой выразительностью, элементы языка-предшественника, воспринятые языком-преемником, и являются в нем элементами языкового субстрата. Иногда эти элементы, отражающие особенности языкового мышления, строй языка, оказываются удивительно стойкими. Так, например, французское числительное *quatre-vingts* «восемьдесят (букв. четыре (по) двадцать)» отражает счет не десятками, свойственный индоевропейским языкам, а двадцатками, характерный для иберийско-кавказских языков и, видимо, и для того языка иберско-баскского типа, который был распространен во всей Франции до прихода туда кельтов (галлов). Затем этот язык был оттеснен на юг галльским языком, но, несмотря на это соответствующее слово, передающее счет двадцатками, было калькировано галльским языком, а отсюда народной латыни Галлии. Таким образом, внутренняя форма иберско-баскского слова была сохранена, несмотря на двукратную смену языка – галльского, сменившего иберско-баскский, и галльского, смененного латинским. Несомненно, подобные случаи могли быть и на территории Центральной России, где финно-угорским мерянским был сменен индоевропейский протославянский, а мерянский в свою очередь затем был сменен славяно-русским. Однако при настоящем уровне исследования проблем преемственности культур Центральной России и представляющих их языков проследить так глубоко линию последовательной взаимосвязанности сменяемых языков пока невозможно. Достаточно сложен сам по себе уже вопрос о сохранности элементов мерянского языка, на котором здесь будет сосредоточено внимание.

Поскольку вопросу фонетической адаптации уделено специально внимание далее, здесь о нем, в частности, как и о вопросе стойкости фонетики, следует сказать в наиболее общих чертах. Как показывает исследование фонетического материала, отраженного в примерах мерянского фонетического воздействия на слова славяно-русского происхождения (включая заимствования) и в чертах фонетики мерянского языка во включениях из него, при известной взаимной адаптации двух взаимодей-

ствующих языков, в целом фонетика субстратного языка, особенно в области консонантизма, проявляет очень большую степень стойкости, и, — что следует специально отметить, — даже в ту эпоху, когда субстратный язык давно вытеснен и полностью субстратизирован.

Что касается грамматики, лексики и фразеологии, то здесь степень стойкости разная и проявляется по-разному. Поскольку выяснить, каким был мерянский язык в целом даже в наиболее близкий нам, последний, период его существования, пока нет никакой возможности, речь может идти и пойдет только о сохранности элементов мерянского, представленных в мерянском субстрате русского (как правило, областного) языка.

В целом, — и это, видимо, характерно для субстратных языков вообще, — элементы грамматики мерянского языка в «чистом» (т.е. некалькированном, материальном) виде, как и следовало ожидать, сохраняются только имплицитно, скрыто либо в составе топонимов, либо, если речь идет об апеллятивах, среди диалектизмов или арготизмов (частично фразеологизированных), из состава которых они не выделяются. Грамматические форманты здесь как непонятные не вычленяются сознанием, формы с ними воспринимаются, будучи неосновными, как основные, т.е. в частности, для существительных формы косвенных падежей как формы им.п. ед.ч., в связи с чем на них наращиваются грамматические форманты русского языка, — ср., например, форму иллатива ед.ч. *дульяс* (< мер. **tuljas*) «огонь», воспринимаемую как форму им.п. ед.ч. или форму мн.ч. им.п. (на которую в свою очередь наращен русский формант — показатель мн.ч. *-и*) *бяньки* «вили с двумя зубьями» (< мер. **βän-ək + i > bянъки*) (наст. изд., с. 67, 96–97). Следовательно, есть основание считать, что грамматические показатели субстратизирующегося мерянского языка, как правило, в субстрат русского языка не включались. Обычно в него попадали только чистые корни (основы) в одной из основных форм. Если при этом все же часть грамматических формантов в субстрат «проскакивала», то это происходило или «по недосмотру», вслед-

ствие того что значимость формы уже не была известна и она осознавалась как одна из прямых форм без грамматических показателей (в лексических апеллятивах), или потому, что данные формы употреблялись чисто традиционно, механически в составе традиционной лексики ономастического характера или, реже, в составе фразеологизированных (фразеологических) оборотов, точное значение которых уже не осознавалось (в связи с чем их слова ошибочно сближались с русскими)⁵⁰. Таким образом, в сущности, материальные элементы мерянской грамматики, если и оказывались в составе субстратных элементов, то чисто случайно. В связи с этим сохранились только отдельные ее фрагменты, восстановимые лишь при системной реконструкции и привлечении сравнительно-исторических данных родственных языков. Наличие (даже случайное) грамматических элементов, сохраненных мерянским субстратом, косвенно зависело от частотности тех грамматических форм, которые выступали в составе лексической ономастики (здесь, например, почти невозможны или, во всяком случае, мало частотны личные формы глаголов, зато довольно часто встречаются именные (причастные) формы глагола) или в составе наиболее частотных и традиционных фразеологизмов — языковых формул.

Более обычен при проникновении в субстрат и сохранении в нем для грамматики (и фразеологии) путь калькирования. Однако он обусловлен наличием соответствующих материальных элементов в языке-преемнике. Так, из системы местных падежей (6 падежных форм) русский язык в качестве языка-преемника смог отразить в виде оттенков местного падежа две мерянские падежные формы (их функции) — инессивную и адессивную, ср.: «В этом лесу нет ничего интересного» (инес.) — «В этом лесе (≈ у этого леса) нет ничего интересного» (адес.) (наст. изд., с. 68–69). Латышский язык как язык-преемник большого числа растворившихся в нем ливских (финно-угорских) говоров из тех же 6 падежей стал своим местным падежом отра-

⁵⁰ Ср. явно народно-этимологическое сближение оборота *елусь поелусь* (< **joluš ra joluš* «пусть будет и будет») с рус. *ълось бы* у Даля (Даль, I, 518).

жать, наряду со свойственным ему и раньше и несивным значением (*Es esmu Rīgā* «Я (есмь) в Риге» (инес.)), также иллативную функцию (*Es braucu Rīgā* «Я еду в Ригу» (илл.)). Связано это с разным инвентарем языков-преемников. Там, где у языка-преемника имелись соответствующие материальные средства, черты языкового субстрата могли быть отражены. Там, где они отсутствовали, они не отражались, оказывались за бортом грамматической системы языка-преемника. Грамматическая система языка-преемника как система замкнутая, ограниченная определенным числом элементов, могла отразить из языка-субстрата и активизировать с его помощью только те материальные грамматические показатели, которые, совпадая в чем-то функционально с соответствующими грамматическими элементами языка-субстрата, могли быть переданы в их функциях. С целью отражения этих новых для языка-преемника функций используются или дублетные формы падежей (-a/-у у родительного падежа, -a с генитивной, -у с партитивной функцией (наст. изд., с. 69), -e/-у у предложного в русском языке), или уже имеющийся грамматический и формант -ā (как показатель местного падежа ед.ч. в латышском языке) получает дополнительную функцию (наряду с местной (инесивной), иллативной). Таким образом, при переносе функций языка-субстрата в язык-преемник носители языка-преемника не создают новых грамматических форм из заимствованных элементов языка-субстрата. Они только наполняют новым содержанием имеющиеся в языке форманты или же из своих строевых элементов создают новые формы для передачи грамматических функций, заимствованных из субстрата⁵¹. Следовательно, в формальном отношении язык-преемник при грамматическом влиянии языка-субстрата или не претерпевает никаких изменений, или, если им и подвергается, то, как правило, только опираясь на запас своих собственных служебных слов

⁵¹ Ср. пример местных падежей осетинского языка, совпадающих по функциям с местными падежами субстратного иберийско-кавказского языка, но с использованием при их создании материальных элементов иранского происхождения (ср.: Абаев, 1956, с. 68).

и формантов. Происходит, таким образом, преимущественно лишь изменение его внутренних грамматических форм при сохранении и неизменности внешних. Соответственно с этим можно сделать вывод о том, что свою грамматическую структуру, как и фразеологию, язык-субстрат в языке-преемнике сохраняет обычно лишь в калькированном виде (передача их в материальной форме принадлежит скорее к исключениям). При этом калькируется не вся грамматическая система языка-субстрата, а только те ее части, для передачи которых есть соответствующие материальные средства (форманты) у языка-преемника.

Совсем иначе обстоит в случае лексики, которая в отличие от грамматики является открытой системой.

Если в грамматике для передачи отсутствующих в языке-преемнике внутренних грамматических форм используются уже имеющиеся материальные грамматические форманты, то в лексике, где преобладает не калькирование, а прямое материальное заимствование, воспринимаются, как правило, те материальные лексические элементы, которые отсутствуют в языке-преемнике, т. е. происходит не наложение новых значений на старые материальные элементы, а заимствуются и добавляются к старым новым материальные лексические элементы – лексемы, слова.

Субстратная лексика проникает в язык-преемник тремя основными путями – 1) в составе ономастики (прежде всего, топонимов); 2) в составе арготизмов, принадлежащих условным («тайным») языкам (в данном случае постмерянских территорий); 3) в составе диалектизмов местных говоров (иногда наиболее частотные элементы лексики отмечаются в двух, а то и во всех трех источниках). Наименее стойкими из субстратных по причине их близости к не включаемым в язык-преемник грамматическим элементам являются местоимения и служебные слова. В собранном и реконструированном материале отмечено всего два местоимения (**ma* «я», **śi* «это», – наст. изд., с. 75–76), один предикатив (**pemēj* «нет», – там же, с. 85), три частицы (**joū* «вот», *-ka, *-ki (усилительные), – там же, с. 85–86) и один

союз (*ра «и», — там же, с. 85). Близки к ним по своей малой частотности прилагательные и наречия: пять прилагательных (**þäDrä* «сильный, здоровый», **il'Doma* (*-Dəmə) «безжизненный», **kolDoma* (*-Dəmə) «безрыбный», **maZəj* «красивый, приятный, милый», **šom* «черный», — там же, с. 71–73, 115) и одно наречие (**þäha(-hə)* «мало», — там же, с. 84–85). Мало от мерянского языка сохранилось также числительных (только **i/ükanə* «один (ум. ф.)» и **šežim* «семь», — там же, с. 73–75). Обращает на себя внимание сохранение малых чисел, не выходящих за пределы первого десятка. Это может объясняться как их большей частотностью (по сравнению с большими числами), так и вследствие этого их лучшей сохранностью и большей стойкостью. В тех случаях, когда в связи с двуязычием происходит вытеснение собственных числительных и замена их заимствованными, оно начинается с наиболее крупных чисел (ср. болг. (< гр.) *хиляда* «1000» (при стсл. (д)болг.) **тысаЧа*, иллуж. (< нем.) (нар.) *tawzynt* «тысяча», *hundert* «сто»). В тех языках, где подобный процессшел особенно далеко, дальше всего сохраняются именно числа первого десятка, причем преимущественно относящиеся к первой его половине. Так, коми-пермяцкий язык заимствовал (в отличие от коми-зырянского) из русского все числа после 10. Берберский же заимствовал из арабского все числительные, заменив ими собственные, за исключением первых трех чисел натурального ряда (1, 2, 3). Не исключено, что и в мерянском сохранение двух чисел первого десятка могло быть связано с тем, что в нем в последний период его существования, с которым в наибольшей степени связана постмерянская (субстратная) лексика русского языка, употреблялись только собственные числа первого десятка. Остальные числа были, возможно, заменены в это время русскими или часто ими заменялись. Относительно небольшим является состав глагольных форм мерянского происхождения (точнее, глагольных корней), сохранившихся в субстрате (не больше 17–18 корневых слов) (**ri(j)-* «дуть», **rełe-* «бояться», **jolə-* «быть», **näv-* «видеть, смотреть», **nelə-* «глотать», **vara-* «делать», *ełe-* «жить»,

tuDo-* «знать», **anDo-* «кормить», **vojmo-* «мочь», **kolbə-* «разговаривать», **seZə* «разрывать», **kole-* «сдыхать», *mere-* «сказать», **hali-(-ə-)* «умирать», **tohtə-* «хотеть», **matko-* «путешествовать», **koroni-* «хоронить», — наст. изд., с. 115). В наибольшей степени в субстратной лексике сохранились существительные (в составе собранной и исследованной лексики около 48, **tolGə* «перо», **jelma* «язык», **kiβa* «женщина (старуха)», **mama(-ə)* «мама, мать», *at'ə* «отец», **koka* «старшая сестра, тетя; крестная мать», **βanə* «(низкий) берег», **ńero* «болото», **rujeGa* «вьюга», **šab-* «дым», **lot'ma* «ложбина», **tule* «огонь», **jähre* «озеро», **juk* «река», **šarnə* «верба», *šol'a* «вяз», **mäkša* «гнилушка», **raŋ(G)a* «гриб», **toma(-ə)* «дуб», **moska(-ə)* «конопля», **kerə* «кора», **nuš* «крапива», **mař(ə)* «ягода», **urma* «белка», **βaraka* «ворона», **aŋka* «галка», **peZə* «гнездо», **kurGa* «журавль», **l'ejma* «корова», **käGa* «кукушка», **šorDə* «лось», **kutkə* «орел», **kol* «рыба», **muZa* «рябчик», **reń(ə)* «собака», **kut'a(-ə)* «(молодая) собака», **sorjəs* «хариус», **ki(β)(/*kü)* «камень», **βeń* «(двурогие) вилы», **palo* «деревня», **voj* «масло», **pahča* «овоши (свекла, брюква, огурцы)», **βeD'ma* «перемет», **koju* «сарай», **kirbäs* «топор», **lil'* «душа», **joβlos* (jo(β)ls*) «дьявол», **pano(-ə)* «курган», — наст. изд., с. 115–116).

Значительная часть субстратной лексики сохранилась в составе топонимов. Их характеризует тематическое разнообразие при связи преимущественно с характеристиками природы, окружающей тот или иной топоним, и описанием их свойств. Преобладают здесь (в отличие от диалектных апеллятивов) слова, относящиеся к основному лексическому фонду. Поскольку человека могла интересовать характеристика окрестностей рек (и селений), имеется ли поблизости рыба, какие деревья растут рядом с ними, водятся ли в лесах звери и какие, в топонимах выступает целый ряд соответствующих прилагательных (причастий) и существительных: (реки) *Andoba* (кормящая, — приток), *Nelša* (проглотившая — многих, свои притоки), *Koldoma* (безрыбная), *Kondoba* (несущая — воду), *Axren* (озерная); *Šarna* (верба), *Šolla* (вяз),

Лонга (гриб), *Кера* (кора, луб), *Нуш* (крапива), *Варака* (ворона), *Кега* (кукушка), *Шорда* (лось), *Кутка* (орел), *Муза* (рябчик), *Ки(в)* (камень) и т.п.⁵²

По другим причинам подобные же основные понятия могут передавать и арготизмы. Цель арго не дополнить язык недостающими ему лексическими средствами, обозначениями новых реалий или стилистических (синонимических) оттенков, а скрыть понятия, передаваемые общеизвестными словами. Именно поэтому среди арготизмов встречаются слова, относящиеся к основному лексическому фонду мерянского языка, в том числе сохраняющие фрагменты мерянской грамматики. Последнее можно объяснить и тем, — поскольку речь идет частично об арго торговцев, — что в то время, когда мерянский язык уже начинал выходить из употребления, он еще какое-то время мог употребляться, в частности среди мужчин, в качестве тайного языка, непонятного русскому населению из немерянских местностей. В составе арго встречаются обозначения таких элементарных понятий, как: *немень* «нет» (ср. венг. *nem*), *мас* (< мер. **ma*) «я», *сienъ* «есть» (< мер. **ši* *jоj* «это есть»), *елманский* «говорящий на тайном языке» (< мер. **jelma* «язык»), *неёла* «нет» (< мер. *(e) *jola* «нет (не есть)») (наст. изд., с. 78–79, 84) и т.д.

Иначе проявляет себя апеллятивная лексика субстратного происхождения в диалектах. Если вначале здесь, как и в ономастической и арготической лексике, довольно часто встречаются (пережиточно) те понятия, которые легко могли бы быть переданы общерусскими словами славянского происхождения, которые, однако передаются мерянскими по происхождениям лексемами (*урма* «белка», *лейма* «корова»), то со временем эта лексика выходит из употребления и в диалектном узусе сохраняются только те субстрат-

⁵² Появление простых существительных в названиях рек при передаче их славянами объясняется тем, что в мерянском эти названия образовывали сложные слова со вторым компонентом **juk* «река» (т.е. **KolDomajuk* «Безрыбная река», **Sarpejuk* «Вербовая (букв. — Верба) река» и под.), который славяне обычно отбрасывали.

ные слова, которые обозначают специфические явления, характерные для данной местности, ее природы, особенно хорошо приспособленные к местной трудовой деятельности — *соръез* «хариус» (название не рыбы вообще, а характерного местного ее вида), *тохта* (< мер. **tohta*, — наст. изд., с. 47) (название трухлявой древесины), *мякша* (гнилушка) (слова удобные как точные обозначения видов древесины и тем самым важные для постмерянских областей с их развитым лесным хозяйством), *колеть* «умирать (о скоте)» — слово, в форме *o-колеть* широко известное и литературному языку, и т.п.

Следовательно, первоначально (очевидно, как наследие двуязычного периода с его постоянным переключением с одного языка на другой) диалектный и арготический языки постмерянских местностей получили большой запас лексики, унаследованной от мерянского языка. Здесь наряду со словами, обозначавшими своеобразные синонимические оттенки или реалии, было много слов, являющихся абсолютными синонимами для обозначения наиболее элементарных общих понятий, которые ни семантически, ни стилистически ничем не отличались от слов славянского происхождения, имевшихся в русском литературном языке и других (непостмерянских) говорах русского языка. Эти слова активно употреблялись в пору, когда еще не вышел из употребления мерянский язык и существовало мерянско-русское двуязычие, а также по инерции и некоторое время после этого, в особенности в отдаленных местностях, живущих своей изолированной жизнью. Хотя мерянская грамматика перестала использоваться, но сохранилась еще традиция употреблять подобные слова в разговоре с односельчанами и носителями данного русского постмерянского говора (как привычка, унаследованная от предшествующего двуязычного периода). Данные слова употреблялись как в территориальных говорах, так и в локальных социолектах. Однако в дальнейшем их судьба в первых и последних стала разной. Поскольку местные диалекты или говоры являлись частью общенародного русского языка, его носители должны были стремиться ко взаимо-

пониманию с носителями других говоров. Поэтому в меру того, как упрочивались их связи с носителями других говоров – а к этому вели такие факторы, как развитие экономики, улучшение путей сообщения, ликвидация крепостного права, переселения в другие местности и т.д. – постмерянские говоры все более стали сближаться с литературным языком, а их носители избавлялись от слов, обозначающих самые обычные общие понятия, но совершенно отличающиеся от литературных и вообще общерусских. Эти слова были понятны только в своей местности, и их не понимали и нередко вышучивали в других местах. К ним в лексике говора, как правило, относились слова мерянского происхождения. Таким образом, постмерянские говоры освобождались, как от ненужного балласта, от этих непонятных в других местах и неоправданных с точки зрения русского языка слов. Постепенно в местных говорах стали оставаться только те специфические слова, которые не имели соответствий в литературном языке, будучи необходимыми в связи с особенностями местной жизни, быта, трудовой деятельности (название специфических реалий – связанных с местными промыслами, кушаньями, бытом и т.д.). Часть из этих слов могла также выпадать из лексики с изменениями условий жизни.

Иная судьба ожидала мерянскую лексику в «тайных языках». Здесь, напротив, поскольку нужны были слова-преграды, ширмы, мешающие пониманию со стороны непосвященных, необходимы были непонятные слова именно для обозначения самых распространенных понятий. Однако с отмиранием тайных языков стал вместе с ними отмирать и этот источник сохранения мерянской лексики.

Наиболее прочным, менее зависимым от условий жизни оказывается «язык земли», топонимы мерянского происхождения. Однако этот язык, не будучи связан непосредственно с апеллятивной лексикой, требует особых усилий для своего понимания, поскольку отсутствие столь острой необходимости в прозрачности семантики, которую наблюдаем в апеллятивах, делает этот язык зачастую слишком темным, с трудом поддающимся расшифровке.

2. Проблема адаптации фонетических элементов при взаимодействии мерянского субстратного языка с русским языком-преемником

Данная проблема при настоящей степени разработанности мерянстики вообще может быть затронута только в общих чертах.

С одной стороны, по-видимому, определенное воздействие со стороны фонетики мерянского языка испытала фонетика всех русских говоров бывшей мерянской территории, а через них в какой-то степени и фонетика русского литературного языка. Так, для системы местных русских окающих говоров характерно оканье с редукцией, возможно, связанное с системой мерянского вокализма, где выступали редуцированные э, ә и, вероятно, было возможно безударное о (наст. изд., с. 30–31, 34–35, 43–44, 56). Именно это обстоятельство способствовало быстрой перестройке и специфики местной системы вокализма при влиянии на них, прежде всего на говор Москвы и ее окрестностей, южнорусских акающих говоров. Здесь распространилось аканье с редукцией, т.е. установилась система, свойственная современному русскому литературному языку.

В основном развитие фонетики, как это и наблюдается при длительном сосуществовании двух языков, шло в сторону их сближения, хотя процесс этот был очень долгим – и до сих пор в постмерянских русских говорах много фонетических черт, говорящих об их мерянском прошлом.

Если русский язык мог усвоить себе от мерянского его редукцию, то мерянский, очевидно, под влиянием русского утратил, видимо, существовавшие в нем своеобразные переднерядные лабиализованные звуки ö и ü, а также различие е и ä, которое могло в русских северных говорах поддерживаться наличием фонем ъ и е (наст. изд., с. 21, 29, 37–41).

В основном все же сближение шло в сторону постепенного приближения мерянской фонетики к русской, тем более, что в конечном счете оно привело к субстратизации мерянского языка. Первоначально

существовавшие в мерянском полузвононкие были постепенно заменены звонкими, хотя наличие полузвононких и нефонематичность противопоставления глухой-звонкий (< полузвонкий) и до сих пор дает себя знать в (пост)мерянских русских говорах, в постоянной путанице глухих и звонких (с точки зрения литературного языка) (*карюка, падог* и под. – наст. изд., с. 16–18). Постепенно постмерянские говоры утратили звук *β* (там же, с. 22–25), среднеязычные звуки (там же, с. 26–27), глухие сонанты (там же, с. 27), усвоили звук *х* и утратили звук *h* (там же, с. 53–54) и т.д. Хотя пережитки прежнего состояния, например, избегание сочетаний согласных в начале слова (*ласибо* (< спасибо), (*на*)*рахать* (< (на)страхать) и т.п.) (там же, с. 19–21), инициальное ударение в топонимах мерянского происхождения (диал. *Кострома* при лит. *Костромá*) (там же; с. 44) и т.д., еще реликтно встречаются в постмерянских русских говорах, все же с течением времени они все больше идут на убыль. Подобное направление фонетического развития имеет своей причиной большую социолингвистическую престижность (славяно-)русского языка сравнительно с мерянским, особенно повысившуюся (с одновременным все большим понижением социальной ценности мерянского) к концу существования мерянского языка. Речь в данном случае идет не об абстрактной «красоте» или «безобразности» тех же самых звуков, а об их оценке в связи с социологической оценкой языка в целом. Те же самые звуки *ö* и *ü*, которые оказались неприемлемыми в мерянском с точки зрения русского, одновременно высоко оценивались во французском языке опять-таки с точки зрения русского. Звук *β* был неприемлем в мерянском, но одновременно его стремятся усвоить и усваивают в испанском и т.д. Вопрос звуковой адаптации и сближения языков не относится к одному русскому и мерянскому. Он гораздо шире. Звуки *ö* и *ü* или один из них были, видимо, свойственны еще финно-угорскому прайзыку (Лыткин, 1974, с. 102). Однако далеко не во всех этих языках они сейчас представлены. Возможно, вовсе не случайно они есть в финском, эстонском и венгерском, кото-

рые длительное время контактировали с германскими языками (немецким и скандинавскими, где они имеются), в марийском, контактирувшем с татарским, где они также существуют. Но их нет в ливском, поскольку их нет во влияющем на него латышском (звук и известен только старикам, носителям одного из двух ливских говоров, – наст. изд., с. 42), и в мордовских языках, длительное время подвергшихся сильному русскому влиянию. Следовательно, при сближении двух языков большее влияние оказывает в фонетике социолингвистически сильнейший. В то же время в более имплицитном виде часть своих фонетических тенденций передает языку-предемнику и язык-субстрат. Фонетические особенности и тенденции субстратного языка держатся особенно долго и упорно, надолго переживая сам этот язык. Очень многие черты постмерянских русских говоров и до сих пор, особенно же в прошлом, – начале XX века, обнаруживают яркий финно-угорский (мерянский) «акцент», хотя мерянского языка давно не существует, а вместе с ним исчезли и мерянско-русское двуязычие и возможность влияния фонетики мерянского языка на фонетику русского.

Однако, не находя себе поддержки в фонетической системе русского литературного языка и других русских говоров, эти пережитки, противоречащие им, вызывающиеискажение фонетического облика русских слов (ср. *моргать* ← сморкать, *не рой его* ← не тронь его и т.п.) (наст. изд., с. 20, 27), должны постепенно вытесняться. Из фонетического влияния мерянского языка имеют реальные основания остаться среди субстратных только те его особенности, которые или совпадают с особенностями русского языка, или с ними сблизились: **tü*, **tö* > *t'u*, *t'o* – ср., в частности, мер. **þöksə* «пролив; река, вытекающая из озера и служащая связью между ним и рекой» – р. *Вёкса* (наст. изд., с. 41–43), а также те, которые настолько слабо уловимы, что с трудом осознаются и поэтому имеют шансы сохраниться (особенно в ритмомелодике), – как правило, эти наиболее стойкие особенности имеют тенденцию проникать как в фонетику говоров, так и даже литератур-

ного языка (ср. его редукцию). Впоследствии эти ритмомелодические особенности, возможно, могут вызвать «вторичные» фонетические процессы, которые приведут к некоторым изменениям, близким к субстратным.

Наиболее стойко фонетический облик мерянского языка, с неизбежными, однако, позднейшими адаптациями, по-видимому, сохранится в реликтных мерянских словах (апеллятивах и ономастике).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрение реконструированного мерянского языкового материала в историко-социолингвистическом плане позволяет обнаружить в развитии мерянского языка и его субстратизации (постепенном его превращении в мерянский субстрат русского языка) черты, видимо, общие с другими субстратными языками, и специфические особенности, обусловленные своеобразием языка и его истории, внешней и внутренней.

2. К чертам, общим с другими субстратами, принадлежит наибольшая стойкость внутренней формы субстрата и наименее контролируемой сознанием звуковой его стороны, ритмомелодики. К наименее стойким принадлежит грамматика в ее материальном проявлении и апеллятивная лексика, обозначающая наиболее общераспространенные понятия, большей стойкостью тот же разряд лексики обладает в составе ономастики.

3. При сближении языков и в особенности их смене наиболее решающую роль для направления сближения и смены играет социолингвистическая ситуация этнических обществ, носителей языков. Ею предопределяется их социолингвистическая оценка. Социологически более престижный язык влияет на менее престижный. Если сумма преимуществ, связанных с этнической общностью, носителем второго языка, значительно и стойко превосходит те социальные достоинства, которые связаны с принадлежностью к этнической общности первого языка, возникает положение, могущее в конечном счете привести первую общность к смене своего языка на язык второй общности. Для этого, однако, долж-

ны также сложиться предпосылки, способствующие их слиянию и образованию из них одного этнического общества, этноса.

4. При вытеснении языка (не связанном с физическим уничтожением его носителей типа истребления туземцев Тасмании) вытесняемый язык в большей или меньшей мере влияет на вытесняющий. Сила воздействия субстрата зависит от социологических качеств общества, носителя языка, ставшего субстратом (его количества, развитости, площади, занятой им, оригинальности культуры и т.п.). Чем выше эти показатели, тем более существенным может быть влияние субстрата. Очень большое значение для сохранности элементов субстрата в языке-преемнике имеет изолированность последнего от других родственных языков.

5. Спецификой мерянского субстрата в русском языке (в отличие от ряда других субстратов Европы) является то, что:

1) это субстрат неродственного по отношению к русскому (неиндоевропейского) языка, что обеспечивает лучшую его распознаваемость по отношению к индоевропейским;

2) это субстрат языка, который относительно недавно прекратил свое существование (в XVIII в.) по сравнению с рядом других известных науке субстратов (галльским, дакийским, иберским), где соответствующие языки исчезли очень давно (в первые века н. эры и ранее), т.е. более тысячи лет тому назад;

3) мерянский язык исчез, но сохранился ряд родственных ему финно-угорских языков и диалектов, что облегчает его реконструкцию;

4) хотя в период существования мерянского, точнее в последнее время его развития, не были записаны его оригинальные тексты, однако есть основание считать, что в прошлом на нем должны были создаваться памятники, которые, возможно, сохранились и только ждут своего открытия;

5) даже в случае их отсутствия имеются многочисленные реликты мерянского языка, которые позволяют, хотя и с проблемами, установить многие его стороны; изучение записей мерянской ономастики, произведенных в разное время, позволяет до известной степени представить себе историю мерянского языка и его диалектную вариативность, в особенности фонетическую и лексическую;

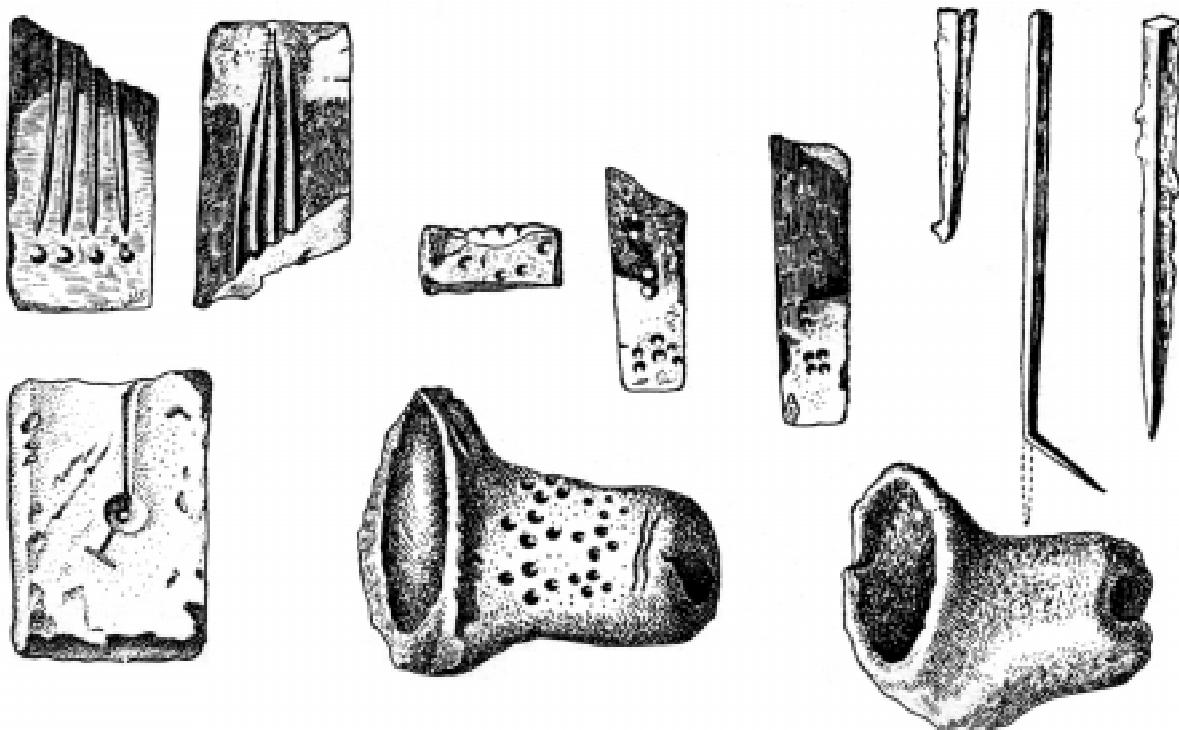
6) все это позволяет рассматривать изучение и реконструкцию мерянского языка из его субстратных элементов как едва ли не наиболее перспективную среди других субстратов; это, несомненно, даст возможность воспользоваться ее опытом для более сложных реконструкций других субстратных языков, в том числе дославянских (в частности, скифского, дакийского, возможно, также синдского для украинского, ятвяжского и других, балтийских – для белорусского, кельтских и германских –

для западнославянских, романских и (палео)балканских и частично греческого – для южнославянских);

7) изучение мерянского языка, важное само по себе и с точки зрения финно-угристики, не менее важно с двух точек зрения и для славистики – 1) как путь к изучению ряда черт специфики русского языка; 2) как подход к проблеме домерянского субстрата мерянского языка, который мог отражать протославянскую стадию развития славянских языков.

6. Изучение мерянского языка позволяет проникнуть в глубь истории финно-угорских языков и, возможно, открыть наиболее древние памятники финно-угорских (в частности, финских) языков, восходящие к XI в.

7. Сложность и ответственность задач, возникающих при реконструкции мерянского языка и изучении его истории, внутренней и внешней, что требует комплексного подхода, ставит перед необходимостью создания новой отрасли науки – мерянстики, находящейся на стыке финно-угроведения и славистики, целью которой является всестороннее изучение мерянских, в том числе языковых, древностей и этноса, носителя мерянского языка, в его истории.



Орудия литейщика-ювелира с Дурасовского городища IX в. на р. Стежере.
[22, стр. 114]